

**1·ЭХО·ЕCHO**

**1978·PARIS·ПАРИЖ**

**Э Х О**  
**литературный журнал**  
**1**

**ПАРИЖ**

**1978**

Журнал редактируют:  
Владимир Марамзин  
Алексей Хвостенко

Все права на публикации принадлежат авторам.

Directeur responsable N.Secinski

Вся переписка по адресу:  
V.Maramzine, 302 rue des Pyrénées 75020 Paris

Мы не хотели писать деклараций. Те, кто отчасти нас знает, могут себе представить, зачем мы пускаемся в это плавание, а также - в какое именно. Деклараций и так достаточно. Какие б слова мы ни взяли, это будут слова, уже использованные в других. Читателю всегда покажется, что он знал в этом жанре похуже. Предлагаем поэтому каждому выбрать лучшие куски из других заявлений и мысленно склеить их воедино. Таков идеальный образ журнала. Реальный будет зависеть от наличных материалов, и только от них. Понятие редакции нам ненавистно по нашему подневольному опыту: хотя б из чувства вкуса бывший раб не должен носить полосатое. К своему удивлению, не раз замечали, что даже ревнителю прав иногда забывают о еще одном праве, не менее важном, чем право на жизнь и свободу: авторском, - и доравнявшись, редактируют сплеча и всласть.

Редактура помимо автора есть способ украсть чужое и приспособить для себя - в частности, для своего журнала.

Разумеется, мы оставляем за собой отбор. Однако отбор возможен лишь из существующего. Чего Бог не дал, того негде взять (цитата). Но мы считаем, что всякая литература неслучайна для своего времени, даже графоманская, и лишь талант, лишь вкус - мера истины. Разумеется, отбор обнаружит наш собственный вкус. Вполне берем на себя эту ответственность.

Журнал (и все тяготы, с ним связанные) предпринят нами исключительно оттого, что мы все переполнены рукописями - в основном, из России. Рукописей много, русских изданий недостаточно. Пусть будет еще одно, продолжение всех прочих. Это единственное и весьма простое соображение.

И всё же самые разные люди настойчиво требуют от нас сформулировать принципы издания. Даже близкие друзья сходятся: придется что-то написать. Но у нас нет редколлегии, нет главного редактора, и уж если никак не обойтись без вступлений, то говорить приходится лишь каждому за себя.

Если это неизбежно, я мог бы так изложить программу своих интересов:

Считаю, что литература не обращена ни к кому, помнить, что этого нельзя сказать о журнале. Журнал участвует в разговоре.

При мысли о будущем журнале рассчитывать только на радость оставленных друзей (и на гримасу врагов).

Литературная стилистика - любая. С возрастом понимаешь невозможность отдать предпочтение ни одной, самой милой. Выражение "хорошо написано" есть эвфемизм оскорбления (попробуйте применить к Пушкину или к Гоголю). Термин "поиски" придуман неудачниками либо завистниками.

Литературное качество, по возможности, наилучшее из того, что попадает в руки. Однако помнить, что журнал не антология, а живой процесс. Уважать право на веселую глупость. Помнить, что трудовой бездельник так же опасен тотальной власти, как активист, который чутко ждет беды.

Исходить из того, что польза и литература могут соединиться на одном листе бумаги лишь случайно. Не раздражаться на литературу за то, что она свободна.

Никаких ограничений языку и сюжету. Только так можно реализовать свободу. Единственное руководство - вкус. Равно не обращать внимания на:

- советского критика, обожающего классическую гладкопись, которая скрывает, на радость тайной полиции, всё, чем живут русские люди,

- либерала из графоманов, не признающего литературы без направления, понимаемого как разбросанные там и там палачи свободы и ангелообразные представители против,

- эмигранта, отрицающего русскость в Набокове по случаю Лолиты и бегущего на Эммануэль в подвальное кино на бульварах.

Никогда не забывая, что власть в нашей стране есть первый враг литературы, помнить также, что писателю во все времена было столь же тяжело выстаивать против всяческой партийной психологии, против либералов. Вспоминать Толстого: "Есть два либерализма. Один, который желает, чтобы все люди были равны мне, чтобы всем было так же хорошо, как мне, другой, который хочет, чтобы всем было так же дурно, как мне."

Радоваться любым проявлениям народного характера в литературе: фольклорность, смех, игра, грамматические вольности и преувеличения, сосуществование низкого и высокого. Не приветствовать, однако, обожествления народа и всех без изъятия народных проявлений.

Не занимаясь специально политикой (так как не умею), тем не менее никогда не забывать зловещей цифры 1917. Чем дольше живешь в нормальной обстановке, тем более видишь, что она принесла миру.

Не обольщаться никаким социализмом или коммунизмом, с лицом и без того. Хорошего социализма не бывает, это грамматическая нелепость.

Не переставать удивляться существующим по обе стороны занавеса стремлениям чернить Россию, старую и новую, сваливать все беды на национальный характер, сублимировать свою вину в историю, отмахиваться от нынешних русских людей, считая их навсегда испорченными советизмом, а живой сегодняшний язык искаженным за его непохожесть на язык прошлого столетия. Народ не может быть виновен или искажен.

Уважать Запад, ценить в нем верность традиции, любить его за свободу и за помощь, но не оглядываться как на главного оценщика. Если существует железный занавес, то театр действий там, в России, а здесь только зрительный зал. Внимание зрителя полезно, но лишь оперетки заглядывают ему в глаза.

По сложившейся у нас традиции от писателя желают услышать просвещенное мнение об идеальном общественном устройстве. Обычно писатель, который никакого устройства не устраивал, затрудняется ответом и выбирает что-либо наименее злое.

Я бы сказал, что предпочитаю для себя и своей страны не идеальное, а нормальное устройство. Никакая общественная формация не может составить сама по себе счастье для человека. Надо, чтоб она ему как можно меньше мешала, это всё.

Образ идеального правления - грамматика по отношению к языку. Грамматика имеет точные законы и замечательные исключения, сложившиеся исторически и равно для всех обязательные. Она не сет всегда в себе всю свою историю. Она допускает невероятную свободу. Талантливая речь может исходить из неграмотной гортани. Изменения происходят вне грамматики, реформа лишь утверждает то, что давно существует. Худая реформа не способна ничего испортить, но лишь постепенно сойти на нет. На грамматику нельзя рассердиться, однако можно всегда обойти.

Ничего более определенного я не мог бы сказать на эту тему.

Еще раз напоминаю, что все эти попытки формулировок принадлежат исключительно подписавшемуся ниже, и содержание журнала может с ними расходиться. Хотелось бы -

В.Марамзин

"Не пишите, молодые люди, не пишите, - дребезжит из самой глубины русской словесности еле узнаваемый теперь уже голос. - Не пишите! Видите, до чего меня довела литература."

Возимый в инвалидной коляске, разбитый параличом Фонвизин приветствовал таким образом выходящих с лекций студентов Санкт-Петербургского университета. "Не пишите!" - горестно восклицал он и действующими еще руками указывал на свои неспособные к дальнейшему движению ноги.

Лакей увез писателя в небытие.

В наше время в последний путь писателей провожали отнюдь не лакеи. И не возгласами обиженного коллеги сопровождалась они, а грозными окриками и, более того, - окончательным приговором не писать. Не писать и не жить. Или так: писать и не жить, жить и не писать. Оставалась еще одна возможность: и жить и писать так, как приказано политическими манипуляторами. То есть прекратить вольную литературную работу. То есть похоронить тем самым литературу вообще.

С точки зрения внешнего наблюдателя вот это самое и произошло. В телескоп наблюдал он, как стаскивались музы с русского Парнаса и как на литературном Валдае нового советского искус-

ства утверждались невообразимые истуканы "вооруженных пушкино-ведов". Молодые люди "с наганом в руках", казалось бы, полностью узурпировали художественную власть. Милитаризованные кордоны были выставлены на всех путях независимой русской словесности. Только одна, хорошо охраняемая дорога была открыта движению литераторов к одной единственной типографии, действующей где-то в недрах лубянки. Перед входом в нее добровольным сочинителям учинялся дотошный искусствоведческий шмон, окончательно опустошавший и без того уже самоконтрольно стерилизованный багаж.

Работник советского издательства рассказывал мне, что помимо основного, "штатского" редактора, они обязательно еще имеют "специального", редактора по подтексту. То есть редактора, который даже за внешней советской добросовестностью способен усмотреть нечто совершенно неприемлемое для упомянутого предпринимателя. Вот по такой-то удобной дорожке двигались русские сочинители. (Сознательно выворачивающие карманы - не в счет.)

Ну, и что же? Осталась ли за всем этим какая-нибудь отечественная литература? По крайней мере, пытавшаяся конкретно осуществиться? Удалось ли нашим литераторам пронести через все эти рогатки живое человеческое слово? Как ни странно - да, хотя в основании писателя лежит (может быть, к его великой беде) некий человеческий принцип, сформулированный великим денди литературы Мюссе:

Верь, ни стихов тот не напишет,  
Ни прозы тот не сочинит,  
Чей труд нечитанным лежит.

Тяжел этот труд - быть напечатанным в советской России. Тяжек для честного писателя. Утонченнейшим языком обхода цензурных ловушек должен пользоваться нынче русский писатель, желая быть изданным. Эзоп позавидовал бы этому нашему уменью. Оторвавшись от этого живого литературного процесса сложно по достоинству оценить наш труд. Хранителям традиционной русской культуры, может быть, не всегда хватает наших знаний и нашей изощренности, чтобы сразу разобраться в нашей творческой кухне.

Ни дребезжащие голоса отчаявшихся сочинителей, ни суровые приговоры не заставили умолкнуть русскую литературу. Еще одно независимое издание, мы надеемся, придаст ей новых сил. В поле нашего зрения находится обширный материал, так и не сумевший просочиться в советскую печать. (А сколько современных русских и вовсе отказалось от сотрудничества с официальным издателем.) Сейчас, на Западе, находясь в условиях пригодных для свободного издания, мы сочли своим долгом перед вольным русским искусством и перед нашими друзьями, не имеющими возможности или не желающими печататься в Советском Союзе, осуществить его своими средствами.

Наше предприятие, мы хотим верить, вызовет соответствующее эхо. Возвысивший голос - услышит отклик.

А. Хвостенко

# ИЗ СТАРЫХ СТИХОВ

\* \* \*

Z.K.

Лети отсюда, белый мотылек.  
Я жизнь тебе оставил. Это почесть  
и знак того, что путь твой недалек.  
Лети быстрее. О ветре позабочусь.  
Еще я сам дохну тебе вослед.  
Несись быстрее над голыми садами.  
Вперед, родной. Последний мой совет:  
будь осторожен там, над проводами.  
Что ж, я тебе препоручил не весть,  
а некую настойчивую грезу;  
должно быть, ты одно из тех существ,  
мелькавших на полях метампсихоза.  
Смотри ж, не попади под колесо  
и птиц минуи движением обманном.  
И нарисуй пред ней мое лицо  
в пустом кафе. И в воздухе туманном.

1960



З.К.

Пограничной водой наливается куст,  
и трава прикордонная жжется.  
И боится солдат святотатственных чувств,  
и поэт этих чувств бережется.

Над холодной водой автоматчик притих,  
и душа не кричит во весь голос.  
Лишь во славу бессилия этих двоих  
завывает осенняя голость.

Да в тени междуцарствий елозят кусты  
и в соседнюю рвутся державу.  
И с полей мазовецких журавли темноты  
непрерывно летят на Варшаву.

10 октября 1962

## НОЧНОЙ ПОЛЁТ

В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч  
и на звезды глядел,  
и в кармане моем заблудившийся ключ  
всё звенел не у дел,  
и по сетке скакал надо мной виноград,  
акробат от тоски;  
был далек от меня мой родной Ленинград,  
и все ближе - пески.

Бессеребряной сталью мерцало крыло,  
приближаясь к луне,  
и чучмека в папаше рвало, и текло  
это под ноги мне.  
Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытьи.  
Над одною шестой  
в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои  
двухголовый святой.

Я бежал от судьбы, из-под низких небес,  
от распластанных дней,  
из квартир, где я умер и где я воскрес  
из чужих простыней;  
от сжимавших рассудок махровым венцом  
откровений, от рук,  
припадал я к которым и выпал лицом  
из которых на Юг.

Счастье этой земли, что взаправду кругла,  
что зрачок не берет  
из угла, куда загнан, свободы угла,  
но и наоборот;  
что в кошачьем мешке у пространства хитро  
прогрызаешь дыру,  
чтобы слез европейских сушить серебро  
на азийском ветру.

Что на свете - верней, на огромной вельми,  
на одной из шести -  
что мне делать еще, как не хлопнуть дверьми  
да ключами трясти!  
Ибо авправду честней, чем делить наш ничей  
круглый мир на двоих,  
променять всю безрадостность дней и ночей  
на безадресность их.

Дуй же в крылья мои не за совесть и страх,  
но за совесть и стыд.  
Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах  
или бог пощадит -  
всё едино, как сбившийся в строчку петит  
смертной памяти для:  
мегалополис туч гражданина ль почитит,  
отщепенца ль - земля.

И услышишь, когда не найдешь меня ты  
днем при свете огня,  
как в Быково на старте грохочут винты:  
это - помнят меня  
зеркала всех радаров, прожекторов, лик  
мой хранящих внутри;  
и - внехрамовый хор - из динамиков крик  
грянет медью: Смотри!  
Там летит человек! не грусти! улыбнись!  
Он тарашится вниз  
и сжимает в руке виноградную кисть,  
словно бог Дионис.

1962

:: :: ::

Нет, Филомела, прости:  
я не успел навести  
справки в кассах аллей -  
в лучшей части полей  
песнь твоя не слышна.  
Шепчет ветру копна,  
что Филомела за вход  
в роцу много берет.

февраль 1964  
Таруса

# КАМЕРНАЯ МУЗЫКА

## 1

### ИНСТРУКЦИЯ ЗАКЛЮЧЁННОМУ

В одиночке при ходьбе плечо  
следует менять при повороте,  
чтоб не зарябило и еще  
чтобы свет от лампочки в полете

падал перемененно на виски,  
чтоб зрачок не чувствовал суженья.  
Это не избавит от тоски,  
но спасет от головокруженья.

15 февраля 1964  
тюрьма

## 2

А.А.А.

В феврале далеко до весны,  
ибо там, у него на пределе,  
бродит поле такой белизны,  
что темнеет в глазах у метели.  
И дрожат от ударов дома  
и трепещут, как роща нагая,  
над которой бушует зима,  
белизной седину настигая.

16 февраля 1964

## 3

В одиночке желание спать  
исступленье смиряет кругами,  
потому что нельзя исчерпать  
даже это пространство шагами.

Заклученный, приникший к окну,  
отражение сам и примета  
плоти той, что уходит ко дну,  
поднимая волну Архимеда.

Тюрьмы зиждуются только на том,  
что отборные свойства природы  
вытесняются телом с трудом  
лишь в объем гробовой кубатуры.

16 февраля 1964

## 4

### ПЕРЕД ПРОГУЛКОЙ ПО КАМЕРЕ

Сквозь намордник пройдя, как игла,  
и по нарам разлившись, как яд,  
холод вытеснит печь из угла,  
чтобы мог соскочить я в квадрат.

Но до этого мысленный взор  
сонмы линий и ромбов гурьбу  
заселяет в цементный простор  
так, что пот выступает на лбу.

Как повсюду на свете - и тут  
каждый ломтик пространства велит  
столь же тщательно выбрать маршрут,  
как тропинку в саду Гесперид.

17 февраля 1964

## 5

Ночь. Камера. Волчок  
хуярит прямо мне в зрачок.  
Прихлебывает чай дежурный.  
И сам себе кажусь я урной,  
куда судьба сгребает мусор,  
куда плюется каждый мусор.

25 мая 1965  
КПЗ

## 6

Колючей проволоки лира  
маячит позади сортира.  
Болото всасывает склон.  
И часовой на фоне неба  
вполне напоминает Феба.  
Куда забрел ты, Аполлон!

25 мая 1965  
КПЗ

А.А.А.

В деревне, затерявшей в лесах,  
таращусь на просветы в небесах,  
когда же загорятся Ваши окна  
в небесных (москворецких) корпусах.

А южный ветер, что облака несет  
с холодных нетемнеющих высот,  
того гляди, далекой Вашей Музы  
аукающий голос донесет.

И здесь, в лесу, на явном рубеже  
минувшего с грядущим, на меже  
меж голосом и эхом - всё же внятно  
я отзовусь - как некогда уже,

не слыша очевидных голосов,  
откликнулся я все ж на чей-то зов.  
И вот теперь туда бреду безмолвно  
среди людей, среди рек, среди лесов.

1964

### РУМЯНЦОВОЙ ПОБЕДАМ

Прядет кудель под потолком  
дымок ночлежный.  
Я вспоминаю под хмельком  
Ваш образ нежный,  
как вы бродили меж ветвей,  
стройней пастушек,  
вдвоем с возлюбленной моей  
на фоне пушек.

Под жерла гаубиц морских,  
под Ваши взгляды  
мои волнения и стих  
попасть бы рады.  
И дел-то всех: коня да плеть  
и ногу в стремя!  
Тем, первым, версты одолеть,  
последним - время.

Сойдемся на берегах Невы,  
а нет - Сухоны.  
С улыбкою воззритесь Вы

на мисс с иконы.  
Вообразив Вас за сестру  
(по крайней мере),  
целуя Вас, не разберу,  
где Вы, где Мэри.

Но Ваш арапский конь как раз  
в полях известных.  
И я - достаточно увяз  
в болотах местных.  
Хотя б за то, что говорю  
(Господь с словами!),  
всем сердцем Вас благодарю  
- спасенным Вами.

Прозрачный перекинув мост  
(упрусь в колонну!),  
пятюк пятиконечных звезд  
по небосклону  
плетется ночью через Русь  
- пусть к Вашим милым  
устам переберется грусть  
по сим светилам.

На четверть - сумеречный хлад,  
на треть - упрямство,  
наполовину - циферблат  
и весь - пространство,  
клянусь воздать Вам без затей  
(в размерах власти  
над сердцем) разностью частей -  
и суммой страсти!

Простите ж, если что не так  
(без сцен, стенаний).  
Благословил меня Коньяк  
на риск признаний.  
Вы все претензии - к нему.  
Нехватка хлеба,  
и я зажевываю тьму.  
Храни Вас небо.

1964

## С О Н Е Т

М.Б.

Прислушиваясь к грозным голосам,  
стихи мои, отстав при переправе  
за Иордан, блуждают по лесам,  
оторваны от памяти и яви.  
Их звуки застревают (как я сам)

на полпути к гибели и славе  
(в моей груди), отныне уж не вправе  
как прежде доверяться чудесам.

Но как-то глуховато, свысока,  
тебя, ты слышишь, каждая строка  
благодарит за то, что не погибла,  
за то, что сны, обстав тебя стеной,  
теперь бушуют за моей спиной  
и поглощают конницу Египта.

1964

※ ※ ※

Сокол ясный, головы  
не клони на скатерть.  
Все страдания, увы,  
оттого, что заперт.

Ручкой, юноша, не мучь  
запертую дверку.  
Пистолет похож на ключ,  
лишь бородка кверху.

1964

## С О Н Е Т

Ты, Муза, недоверчива к любви,  
хотя сама и связана союзом  
со Временем (попробуй, разорви!).  
А Время, недоверчивое к Музам,  
щедрей последних, на беду мою  
(тут щедрость не уступит аппетитам).  
И если я любимую пою,  
то не твоим я пользуюсь кредитом.

Не путай одинаковые дни  
и рифмы. Потерпи, повремени!  
А Время уж не спутает границ!  
Но, может быть, хоть рифмы воскрешая  
верни меня любимой, арку птиц  
над ней то возводя, то разрушая.

1964-65

## **е х р о н т о** **ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ОВИДИЯ В РИМ**

(Отрывок)

Тебе, чьи милovidные черты,  
должно быть, не страшатся увяданья,  
в мой Рим, не изменившийся, как ты,  
со времени последнего свиданья,  
пишу я с моря. С моря корабли  
сюда стремятся после непогоды,  
чтоб подтвердить, что это край земли.  
Но в трюмах их я не ищу свободы.

1964-65

## **З И М Н Я Я   П О Ч Т А**

М.Б.

Я, кажется, пою одной тебе.  
Скорее тут нужда, чем скопидомство.  
Хотя сейчас и ты к моей судьбе  
не меньше глуховата, чем потомство.  
Тебя здесь нет: сострив из-под полы,  
не вызвать даже в стульях интереса  
и мудрено дожидаться похвалы  
от спящего заснеженного леса.

Вот оттого мой голос глуховат,  
лишенный драгоценного залога,  
что я не ужогу (не виноват)  
совсем в специалисты монолога.  
И все ж он громче шелеста страниц,  
хотя бы и стремительней старея.  
Но, прежде зимовавший у синиц,  
теперь он занимает у Борея.

Не есть ли это взлет? Не обессудь  
за то, что в этой подлинной пустыне  
по плоскостям прокладывая путь,  
я пользуюсь альтиметром гордыни.  
Но впрямь, не различая впереди  
конца и обнаруживши в бокале  
лишь зеркальце свое, того гляди  
отыщешь горизонт по вертикали.



Вот так, как медоносная пчела,  
жужжащая меж сосен безутешно,  
о, если бы ирония могла  
со временем соперничать неспешно,  
чего бы я ни дал календарю,  
чтоб он не осыпался сиротливо,  
приклеивая даже к январю  
опавшие листочки терпеливо.

Но мастер полиграфии во мне,  
особенно бушующий зимою,  
хоронится по собственной вине  
под снежной, скрупулезной бахромой.  
И бедная ирония в азарт  
впадает, перемешиваясь с риском.  
И выступает глуховатый бард  
и борется с почтовым василиском.

Прости. Я запускаю петуха.  
Но это кукареку в стратосфере  
подальше от публичного греха  
не вынудит меня, по крайней мере,  
остановиться с каменным лицом,  
как Ахиллес, заплучивший в пятку  
стрелу хулы с тупым ее концом,  
и пользоваться себя сырым яйцом,  
чтобы сорвать аплодисменты всмятку.

Так ходики, оставив в стороне  
от жизни два кошачьих изумруда,  
молчат. Но если память обо мне  
отчасти убедительнее чуда,  
прости того, кто, будучи ленив  
в пророчествах, воспользовался штампом,  
хотя бы эдак век свой удлинив  
пульсирующим, тикающим ямбом.

Снег, сталкиваясь с крышей, вопреки  
природе, принимает форму крыши.  
Но рифма, что на краешке строки,  
взбирается к предшественнице выше.  
И голос мой на тысячной версте,  
столкнувшийся с твоим непостоянством,  
весьма приобретает в глухоте  
по форме, совпадающей с пространством.

Здесь, в северной деревне, где дышу  
тобой, где увеличивает плечи  
мне тень, я возбуждение гашу,  
но прежде парафиновые свечи,  
чтоб не был тенью сон обременен,  
гашу, предоставляя им в горячке

белеть во тьме, как новый Парфенон  
в периоды бессонницы и спячки.

1964

### О Т Р Ы В О К

Октябрь - месяц грусти и простуд,  
и воробьи, пролетарьят пернатых,  
захватывают в брошенных пенатах  
скворечники, как Смольный институт.  
И воронье, конечно, тут как тут.

Хотя вообще для птичьего ума  
понятья нет страшнее, чем зима,  
куда сильнее страшится перелета  
наш длинноносый северный Икар.  
И потому пронзительное карр!  
звучит для нас как песня патриота.

1967

### О Т Р Ы В О К

Ноябрьским днем, когда защищены  
от ветра только голые деревья,  
а все необнаженное дрожит,  
я медленно бреду вдоль колоннады  
дворца, чьи стекла чествуют закат  
и голубей, слетевшихся гурьбою  
к заполненным окурками весам  
слепой богини.

Старые часы  
показывают правильное время.  
Вода бурлит, и облака над парком  
не знают толком, что им предпринять,  
и пропускают по ошибке солнце.

1966-67

Владимир ГУБИН

# БЕЗДОЖДЬЕ ДО СЕНТЯБРЯ

П О В Е С Т Ь

**и.е.**

## 1.

Виктор Антонович Панский последний раз в жизни ведет за собой человечество, и остаются какие-то малые метры пути. Давеча он просыпался на службу, как в озеро. Поеживаясь перед прыжком из горячей постели в это особое озеро, Виктор Антонович Панский привычно по старому графику думал о собственной роли в истории - так, не спеша, на спине, каждое утро он думал о собственной роли в истории. Вдруг неожиданно курсом к базару высоко от поселка прошли снаружи окна самолеты, и чья-то рука опустила ему на край одеяла один подозрительный сверток бумаги, и в свертке стучал часовой механизм.

Виктор Антонович толком не понял опасности сразу.

Виктор Антонович крепко зажмурил глаза.

И вот его гроб во главе миллионной толпы потихонечку движется к дальнему кладбищу.

Люди выносят на улицу разные нужные флаги и медленно будут на средства месткомов играть в духовые оркестры.

Виктор Антонович Панский на траурном митинге скажет чего-нибудь им о себе на прощанье хорошее.

Дескать, убили, - а мог бы еще поработать.

Но тут мы для точности сделаем якобы сноску. Виктор Антонович Панский заведовал пунктом проката автомобилей весьма далеко от счастливых объектов истории - роли в ней у него, разумеется, не было даже на время, не было даже в каком-нибудь маленьком смысле, даже в отдельном каком-нибудь случае или в

---

От редакторов. Владимир Губин живет в Ленинграде. Повесть пришла на Запад из самиздата и печатается без ведома автора.

игре, то есть, конечно, была эта роль, но была всякий раз незаметной, в массовках, не очень серьезная, чтобы вот так еще без штанов забивать себе глупостью голову и спозаранку лесть за нее на рожон. Нет же - вошла в него странная блажь. Вошла и давно не выходит обратно. Бесхитростно признавался он, что издавна и постоянно чувствует в себе некую тайную трудную близость к великим героям истории, видит по книжкам в поступках героев моменты своей биографии - только моменты в ином варианте и плане. У этих героев, - конечно, опять же в ином варианте и плане, - имелись в характере штучки настолько разительно общие с ним, что нельзя не поверить в большое свое назначение. Правда, во все это втерли одну ошибку: героям везло, они помирали от голода первыми в тюрьмах царей и горели в огне, как дрова, когда Виктор Антонович Панский, который на собственной шкуре тоже попробовал немало опасности в жизни, - казалось бы, что еще надо истории, - по-прежнему неприметный ел блины после бани. Вроде бы, с ним было все, что бывает на свете с великими людьми в любое тревожное время. И однако в конкретных ответственных точках его биографии не доставало чуть-чуть трагедийного смысла. Незримое соревнование, в котором у каждого равные шансы добиться успеха в истории, он неизменно проигрывал многие годы подряд где-то близко у финиша только поэтому.

Вдобавок, соседи мешали.

Вот, как сегодня.

Сегодня из коридора на цыпочках возле постели появился один сосед с подозрительным свертком бумаги, чтобы разрушить его порядок. Виктор Антонович Панский, когда разобрался, в чем дело, опозорил всеми плохими словами, которые знал, соседа за то, что в свертке лежали стенные часы на ремонт вместо адской машины. Сосед ничего не хотел понимать, ошарашенно пялил глаза и оправдывался. Он говорил, что не может себе уяснить относительно адской машины, кому она будет здесь кстати. Он думал, что лучше без адской машины. Виктор Антонович Панский махнул на соседа рукой и попытался припомнить, какое сегодня число, - не пора ли ему, наконец, собираться занять свое место в суде заседателем? Он получил на собрании от коллектива такую задачу полгода назад. Однако начальство юстиции не торопилось использовать Панского как заседателя. Тянули. График процессов составили плохо, с расчетом, что именно Панский займет свое место в последнюю очередь. Виктор Антонович вспомнил, какое число, - начиналось четвертое августа. Значит, ему предстоит идти. Это известно уже из повестки, которую вытащил утром сосед из почтового ящика. Виктор Антонович в памяти начал искать для сравнения яркий пример из истории, да ничего не нашел. Но зато это утро все-таки чем-то напоминало ему известное утро Нехлюдова перед судом над Катюшей Масловой. В окна активно светило огромное русское солнце, сбоку от солнца по небу на край горизонта текли облака, в комнате прибрано и уютно, и Филька, его камердинер, - тут Панский взглянул на соседа, который стал Филькой, - подаст сейчас кофе. Правда, Катюши у Панского не было. Судить, вероятно, придется каких-нибудь жуликов. Но композиция дня все равно находилась в знакомом, приятном теперь порядке.

Порядок своими часами нарушил сосед.

Панский давно обещал починить их соседу бесплатно.

Сосед был не глупый и сокровенные тайны механики сам до сих пор не постиг не по этой причине. Свободное время сосед посвящал воспитанию старого рыжего пса Акробата. Домашних животных, особенно этих собак, Виктор Антонович Панский считал постоянной преградой в общении между людьми и не мог их любить.

Виктор Антонович ловко отверткой коснулся железа часов и на колени соседу открыл их заднюю стенку. В часах обнаружилось много старинных загадок. Там пахло мышами. Возможно, задолго до первого русского веча вслепую часы эти кто-то умно смастерил из обрезков каких-то орудий в обмен за невесту. Пружинки и оси в часах находились не в той тесноте механизмов, которой гордятся конструкторы нынешних новых приборов на уровне лучших стандартов, — они размещались с таким неуклюжим запасом простора в коробке, что думалось, тут не хватает, наверное, более сотни деталей. Салют нашим предкам, чьи крестьянские избы стояли на самых удобных участках, как дачи богатых людей! У них было вдоволь земли. В косьбе они каждым размахом валили под корень охапку растений на площади в десять квадратных шагов натошак. Веселые, вольные, умные предки имели чудачество не экономить пространство. Какие они молодцы!.. Виктор Антонович скоро закончил починку часов — подтянул наверху колокольчик звонка и помаслил большие колеса. Еще оставалось завинтить на законное прежнее место один всего-навсего болтик, который крепил колокольчик. Виктор Антонович ползал теперь на полу. Около Панского на четвереньках толкался локтями сосед. Оба искали, где болтик. Найти ничего не могли. Пригласили на помощь собаку. Прищурясь от солнца, эта собака на коврике что-то лаяла, чего никогда не поймешь, если сам не собака. Сосед ее выгнал, пока она кого-нибудь из них не укусила. Потом он сердито и долго обыскивал глазами Панского с ног до бровей и обнаружил, что болтик торчит из ноздри.

Скорее всего, второпях, ненароком Виктор Антонович Панский во время ремонта часов засунул туда эту вещь по причине отсутствия левой руки у него и забыл про неё.

Лет восемнадцать назад по согласию после какой-то автомобильной катастрофы белый медбог, словно белый медведь с хирургической пилкой, отрезал ему его левую руку в больнице.

Безрукость его отразилась во многих моряцких легендах. Известно ли вам, кто командовал крупной британской эскадрой под именем лорда Нельсона? Этой эскадрой командовал Виктор Антонович Панский. Помнится, ветер опасно раскачивал море, выламывая мачты судов, и ревел. Над обнаженной седой головой адмирала в бою пролетали снаряды и плакали чайки. Казалось, сражение проиграно. Лорд Нельсон потрогал себя аккуратно за кончик несчастного болтика в левой ноздре и велел обойти неприятеля с тыла. Французы позорно бежали на берег.

Теперьшний суд помещался не близко от дома. На улице Виктор Антонович Панский гневно готов был орать на людей от обиды на них, что назначен кого-то судить. Мысленно Панский прикидывал случай, что будет в зале суда, когда перед публикой выйдет фигура с нелепым предметом на лице. Панский сейчас ненавидел себя

за такое смешное свое положение - извлечь этот болтик обратно к часам оказалось никак невозможно, мешала широкая шляпка, попытки окончились воплем.

Сосед обещал неотступно преследовать Панского, пока не получит свой болтик на место.

На улице он забегал на полшага вперед и заглядывал в самую душу.

Виктор Антонович Панский двигал нешибко ногами по мостовой. Сгорбленный, жалкий, заметно усталый в несчастье, беспомощный, вот он нешибко идет по земле, и противно ему глядеть, как, по-ди, специально те, кого он сегодня назначен судить, сейчас по причине избытка энергии радостно все разрушают, воруют, целуются, бесятся, лезут, куда не положено, путают факты, в надежде, что "рыжий" потом разберется, где правда.

И в каждом поступке им всем для полноты удовольствия нужен судья или даже палач.

У самого входа в почтенное здание, - в дом правосудия в нашем районе. - Виктор Антонович Панский не мог не заметить еще одно новое препятствие. Весьма подозрительный парень стоял впереди на дороге. По всей вероятности, этот противный субъект и опасный рецидивист был доставлен сюда для ответа в качестве обвиняемого, но гулял, ожидая начала судебного заседания. Тонким слоем густая и плотная челка волос покрывала ему надлобье. Огромные уши довольно бандитского внешнего вида почти доставали поверхность плечей, потому что без помощи шеи его голова выростала из тела сама по себе ненормально. Панский хотел обойти его стороной по газону. Но этот детина полез на газон обниматься. Не то чтобы он недозволенно кинулся или рванулся на Панского, - нет. Он неожиданно медленно, будто бы ранее обнимал тут уже более сотни прохожих и очень умаялся в этих делах, растопырил навстречу огромные руки, когда приближался.

- Послушай, а ведь я теперь маляром в комбинате... Спасибо, помог ты!..

- Не трожьте! - взвизгнул Виктор Антонович, и сам же вздрогнул от этого визга.

- Ты меня разве не помнишь? - спросил парень. - Потеха!.. Вот так потеха!.. Мы познакомились в поезде... Думал, что ты мне тогда заливал анекдот, а ты это правда. Ну, и потеха!..

- Я вас ни разу не видел, пустите!

- Не ври! Только, чуешь, не ври! Познакомились в поезде?

- Вы обознались, понятно?

- Где я обознался? Когда обознался? Сейчас или в поезде я обознался? Потеха!..

И Виктор Антонович вспомнил его. Впервые они встретились в прошлую осень внутри электрички в тот момент, когда Панский дочитывал новую песню в газете. В нотах Панский не смыслил. Поэтому он собирался придумать от скуки сам другую мелодию, пока едет, но ему помешал какой-то попутчик, как раз этот парень, который достал из мешка большой огурец, посыпал на лавочку соль и спросил:

- Ты-то, видать, в комбинате работаешь, а?

- На комбинате, - сказал ему Панский. - А что?

- А где комбинат-то?
- Комбинат бытового стекла и посуды. - И Панский назвал ему якобы адрес поселка.
- Ну, а заработки у вас ничего?
- Платят более сотни.
- Прилично!
- Прилично!..
- Еще бы!..
- Куда же еще? Этим тоже хватает.
- Как бы устроиться к вам?
- Приходите, рабочая сила нужна. Я - возьму.
- Общежитие есть? Сколько отпуск?

Про общежитие Виктор Антонович врал еще больше. В конце разговора составил для парня рекомендательную записку к высокому чину по кадрам и подписал ее закорючкой, как в нотах. В душе он с наслаждением представлял себе, что получится, ежели парень придет поступать на работу, а там знать не хотят и по штату не нужен.

Сюжет, похвалил себя Панский за юмор, сюжет!..

- Меня зовут Славкой, мы познакомились в поезде, - сказал ему парень. - А мать всё хворает, да я ей теперь посылаю день-ги...

В поселке, куда он погнался за счастьем, представьте себе совпадение, именно в этом поселке особо нуждались в рабочих и в нем. И версия про общежитие тоже совпала - вот вам и сюжет.

Пожалуй, оно так и лучше. Не правило или, вернее, не вписано в правило, не учтено в перспективах, не взято в расчет, не принято в книги науки, что ежедневно на каждом шагу нас только и ожидают одни сплошные совпадения в различных своих комбинациях - это не правило, но отрицать их действительность всякий откажется. Невелики иногда по размерам, совсем незаметны, как частные случаи, они охраняют нас от беды, если что-то совпало удачно, а то предают втихомолочку, когда не бывает удачи, - вот вам и сюжет.

На фоне заранее предполагаемых в жизни событий они постоянно теряются без объяснений. Ну кто вам поверит, что Виктор Антонович Панский идет с антикварным болтом в носу на такую работу? Поверив, нам скажут: "Вообразить себе трудно!". Скажут, что это в конечном счете не главное в жизни и вовсе не то, что хотелось бы знать от рассказа. И мы целиком согласимся. Хотя понимаем, что в жизни случается разное, всё. Жизнь не беднее нисколько воображения. Неглавных событий в ней больше, чем главных, - она ими так и кишит. Это похоже на длинный симфонический концерт. Ты слышишь господство могучих раскатистых звуков. И, как промежутки, короткие всхлипы гобоев и флейты не Бог весть какое событие в этом хаосе. Они - пустячки. Лавина крутых поворотов судьбы настигает тебя врасплох из оркестра, и снова гобой и флейта - опять пустячки. Но попробуй убрать их оттуда - симфонии нет. Больше и больше ты чувствуешь в этом концерте к финалу влияние слабых гобоев и флейты. Они создают напряжение личного опыта страха, то создают, без чего пропадешь, как младенец без крыши, боксер без боксера, и выйдет, что

в глубине этих кресел сейчас сидим такие большие лже-мы. Не сюжет?

Народным судьей оказалась гражданочка чуточку старше по виду девчонок в конце пионерского возраста. Будто на танцах, она поправляла прическу так часто, что было непонятно, по какому вопросу присутствует здесь эта скромница в ситцевом платье. И будто на танцах, хотелось интимно себе на память отколотить у нее от груди небольшую и белую брошку с пейзажем столицы.

Славка вошел в канцелярию с Панским.

- Слава, - сказала судья, опуская ресницы. - Кому было велено ждать меня на крыльце?

- Я сейчас уйду, - сказал Славка и кивнул ей на Панского.

- Только приятелю надо помочь. Видишь?

- Я ничего, но уйди поскорее.

Славка легонько толкнул заседателя снова за дверь и тихонько спросил:

- Как моя птичка? Нравится?

Затем он за голову крепко руками прижал заседателя к твердой стене и давай щекотать кончик носа гусиным пером.

- Дразнить меня? - Виктор Антонович едва не заплакал, терпел, сколько мог, и чихнул.

Славка обтер ему губы платком и деловито сказал:

- Умойся в мужском туалете.

Виктор Антонович Панский почувствовал очень приятную легкость - теперь он дышал с удовольствием левой свободной ноздрей.

Болтик-то выпал.

Куда?

Забота соседа.

Неизвестно.

Слушалось скушное склочное дело старухи-уборщицы из санатория. Голые веки старухи бессильно смыкались в покое и медленно вновь размыкались, подобно уменьшенным ротикам, в которые ей поместила глаза сама природа. Лицо ее состояло всё как будто из разных отдельных и маленьких мордочек вместе. Так, например, нос у нее был особо похож на отдельную мордочку старенькой детской игрушки. И подбородок тоже похож - он торчал как другая отдельная мордочка снизу. И даже морщины на пухленьких маленьких щечках начертили обидные профили собственных маленьких мордочек. На лбу бородавка смотрела на судей, что грустная печальная мордочка полевого кузнечика, который закинул назад поседевшие нитки усов.

Эта старуха неряшливо расположилась поближе к судьям на первой скамье.

В ее заявлении в суд обвинялся некто Флорентий Флорентьевич Рогов - сживает народ с бела света. О целом народе конкретно там речи не было, а имелась в виду только сама эта старуха, по праву считавшая, что она нисколько не хуже, нисколько не лучше любого из нас, кто совместно с другими людьми составляет народ, и поэтому нечего скромничать, можно сказать, как сказала. В самом деле, раздумывал Панский, почему же она или я или кто-то еще в одиночку уже не народ? Разве несправедливые дей-



ствия с этой старухой, со мной или с кем-то другим, или с сотней кого-то других, разве действия эти творятся не с нашим народом? Стало быть, эта старуха, конечно, - народ. Ну, тогда кто Флорентий Флорентьевич Рогов? Он тоже не хуже, не лучше любого из нас, кто составляет тот же самый народ.

На суде разберемся.

- Истица, - спросила судья. - Почему в своей жалобе в суд вы называете Рогова только по кличке?

Мужчина, ответчик по жалобе, лихо вскочил со стула, запрыгал, танцуя, словно его кто-то сверху держал на веревке за шею и пробовал сунуть босыми стопами в огонь:

- Знаете что? Это меня не она. Это меня отдыхавший товарищ писатель в шутку прозвал, когда были на пляже. Но я не сержусь. Хорошо! Я веселый...

- Вы были прежде священником?

- Да нет, вы что-то напутали. Я был генералом. А сейчас уже возглавляю один культурный и массовый сектор в том санатории, где и она.

- Не соврал! Культурник отец Флорентий, так и зовут, как написано, - простонала старуха. - А еще допишите, кто спер мои ведра, и дайте бумагу с печатью.

- Истица, попрошу, назовите точнее претензии к Рогову.

- Чего называть-то? Он хочет меня погубить, а на место устроить племянницу Фроську...

- Рогов, а вы нам добавите что-нибудь к этим словам?

- Добавлю! Отличный писатель. Смотрел его пьесу, там действуют лица.

- Ключи у меня, а кабины закрыты, - сказала старуха.

- Какие кабины?

- Мужские и женские, чистые. Разве их можно оставить?

- Это неправильно! Этому нас не учили, - крикнул Флорентий Флорентьевич Рогов. - Нельзя запирать на замки в санатории эти кабины.

Панский от скуки привычно искал себе новую роль и придумывал картину, в которой ему горячо аплодирует зал. А за что? Да, по-моему, он на трибуне готовится к речи. Налил из графина воды. Как скажет сейчас, так и будет. От первых рядов до него долетели реплики шепотом: "Этот за правду! Смотрите, силен и уверен. Смотрите, и нос у него тоже в норме. Тише вы, слушайте, слушайте!" ...Я о себе и о вас, - далее Виктор Антонович откашлялся в паузе, после чего он достойно по-римски отпрянул маленько назад. И тотчас это его движение было повторено по телевидению на многих домашних экранах пяти континентов... Мы защищаемся изо дня в день от греха и от боли, но все по природе помрем. - Виктор Антонович выждал, когда прекратится овация... Стало быть, все мы по природе не хуже, не лучше других. Конечно, кто-то из нас гениальнее многих, а кто-то куда красивее, чем я или вы, но всё равно. Людям только по этой причине ссориться нечего. Надо как следует соображать. Ибо теории "лучше" и "хуже" сочинили для нас тираны еще на заре первобытного строя, то есть очень давно, когда они собирались прожить на земле за чей-нибудь счет подольше, да ничего у них не выходило, хотя они мучили нас по теории

и называли нас чернью. То были тираны. А нам дано от природы чувство локтя и чувство костра. Тогда почему среди нас и сегодня тоже одни позволяют другим третировать слабых, стегать их, стрелять в них - за слово, за деньги и даже в кредит? О, не давайте унижать нас тиранам! - Виктор Антонович выпил в графине всю воду и думал о том, по какому же, в сущности, поводу он произнес эту речь и куда бы ее присобачить красиво на место, чтобы все видели.

Из состояния напряженной мысли Панского вывел культурник отец Флорентий. Бедный культурник неузнаваемо переменялся от ярости. Он топал на бабку ногами, воинственно подергивал грудь, шипел, как железо:

- Вредящая женщина эта мешает всем свободно работать! Дышать она не дает. И не дышим. С утра она в кабинете директора требует, чтобы последний докладывал именно ей в данной позиции обстановку в палатах. Потом она переходит допрашивать Ваню, завхоза, - тот от нее прячется в погреб. Потом, обойдя штук пяток санитарок, она принимает отчет у меня о порядке, но я ее скоро поью, потому что всё ходит и ходит, того и гляди что-нибудь украдет...

- Ты контроля боишься!

- Да кто тебя уполномочил? У-уу, тебя все ненавидят!..

- Его больно любят, целуют, - сказала старуха. - Такое мурло!

Панский расслышал приятный заманчивый скрип под столом. И раньше, в самом начале, он, видимо, слышал нечто похожее на шорох и этот скрип, но не мог догадаться, чего там. Скрипела капроном коленок судьи. Панский притих, притаился, оцепенел и почувствовал, что он уже не способен больше вникнуть внимательно в конфликты этой старухи и типа, который Флорентий, - пусть они себе ссорятся дальше. А Виктор Антонович неотступно теперь будет следить и следить, подглядывать и подслушивать, когда повторится скрип под столом, - ему это нужно.

- Это неправильно! - Флорентий доказывал что-то старухе. - Вы... Извините, что я вас на вы... Вы моете, моете всюду уборные, а после идете маршрутом в столовую ложки считать.

- Брезгуешь, значит?

- Да где же у вас гигиена?

Опять заскрипели колени судьи. Панский обнял ее плечи рукою, которая числилась несуществующей в жизни, но, вопреки человеческой логике, болела во сне перед ненастьем, как живая, или иной раз, когда он совершенно забывал о руке, то рука на какую-то долю секунды вдруг дергалась книзу за спичками, ежи падали спички. Вот и теперь она, словно живая рука...

- Надо устроить в столовой обжорную конференцию, - сказала старуха.

- Ну, чтоб ты подохла! - шипел на нее Флорентий Флорентьевич Рогов, артиллерийский военный начальник, железо.

А ноги судьи беспокойно скрипели капроном - рука, как хозяйка, поровну гладила их под столом, под платьем.

Вдруг заседание было отложено вплоть до другого числа по просьбе истицы. Старуха-истица спешила. Ужо будет сильный скан-

дал от курортников, если она не поспеет ко времени после обеда, - ключи от закрытых кабин туалетов лежали в кармане ее спецодежды.

На улице нервничал Славка. Утром судья обещала ему часочек прогулки по лесу, и он ее ждал. В лес было поздно - без малого три пополудни, а с трех начинается на комбинате Славкина смена работать.

- Пожалуй, я вас отведу на автобус. - Виктор Антонович решил, что настало его кавалерское время, когда Славка на велосипеде исчез под горою ни с чем.

- А это мне после ничем не грозит? - спросила она с интересом.

Виктор Антонович не знал, что ей ответить. Панский был совершенно нелеп для такого общения с женщиной без подготовки.

Она приподнялась на цыпочки, поцеловала его и упорхнула в сторону.

Панский пошел напрямик дворами.

От непонятого чувства в себе он хотел совершить непонятое действие, перемешать, перепутать и переиначить все, что он видел, придумать, прибавить, приделать к законам по физике новую адскую скорость движения. Виктор Антонович подал команду: пусть от восторга закружится его тридевятое царство без тормозов. И правдашно, словно тоже по этой его команде, сбоку от Панского на железнодорожных путях в тот же момент загрохотал скорый поезд, который в неделю раз проскакивал без остановок на маленьких станциях, вроде нашей. Чудо, что Виктор Антонович в своем забытии не попал под его колеса и не погиб. Зато он увидел в переднем почтовом вагоне белую лысую голову. Зажатая металлическими прутьями решетки окна, голова торчала изнутри, как в капкане. Тот человек, кто туда ее сунул, наверное, выпил в дороге лишнего. Вот он теперь ее дергает, бодренько ею крутит, а толку нет. Вряд ли возможно без помощи слесаря освободить эту голову. И снова команды! Панский почувствовал, что непонятные силы природы, как он и хотел, понесли его самого выше строений. Не только его - очень многих и всех захватила скорость полета. Сверкают на штанах рубцы. Смена большого числа впечатлений превратилась в привычку, в удобство, где скорость - распушенность нашего века - всё нарастает и нарастает. По заданной схеме за нами мчатся вдогонку котлеты, доклады, пейзажи, и что-то проносится прочь даже, представьте себе, без названия после еще одной новой покраски коммерческим лаком и живо линяет, а тот всё, наверное, крутит своей головой.

## 2.

- Что это? - Виктор Антонович Панский не поверил своим глазам, когда вечером после работы он по приглашению старых знакомых приехал к ним в санаторий на воскресенье.

- Это он, - пояснили в толпе. - Это культурник отец Флорентий забрался на столб совершенно босой. Разве не видите?

Действительно, это был Рогов. Флорентий Флорентьевич вертикально соскальзывал вниз по столбу, но помощник внизу щекотал ему пятки, и культурник карабкался в первоначальную позу.

- Нам не смешно! - кричали ему в толпе. - Прекратите!..

- Как не смешно? - удивлялся Флорентий Флорентьевич. - Я, например, это в цирке видал и смеялся, а вам почему не смешно?

- А сколько можно? Вы девятнадцатый раз даете это ревью...

- Я вхожу в образ.

- А нам надоело! - кричали в толпе.

- Мало ли что надоело! Давай, ассистент, щекоти, щекоти, засмеются.

Из толпы кто-то вывел на горку рыжеволосую женщину в брюках. Во всем ее облике Виктор Антонович заметил большую неразбериху и много решимости быть не такой, как другие женщины, которые в брюках гуляют обычно на судоверфи по стапелю, а то еще скачут на лошади в поле, что их не догонишь. Рыжая женщина в брюках стояла на горке странно. Ее можно было ловить, если - как на охоте. Никто ее не собирался ловить, никто не испытывал к ней ни сочувствия, ни интереса, ни даже досады на то, что она там стоит. Женщина внешне была непонятного возраста - лет двадцать шесть или около этого, но в то же время и больше, и меньше, и сколько угодно. Она попросила гитару. Потом озорно посмотрела на Панского. Все, что случилось далее, Виктор Антонович помнит в мельчайших подробностях. Женщина запела с горы не романс - чёрта с два. Песня ее нахально состояла из тех непростительных в обществе слов, которые нынче везде признаются дурными словами по нашим нравственным нормам. Казалось, что женщина не понимает плохого значения их на миру, - это она по ошибке, по глупой ошибке имеет к этим словам большое доверие. И странное дело - плохие слова выходили красиво в ее исполнении, очень свежо, очень празднично, очень уместно. Публика не обижалась на них. Виктор Антонович Панский не мог объяснить себе этот загадочный случай успеха.

Женщина пела, и он постепенно деталь за деталью прощал ей нескладность ее одежды - да пусть скоморошья.

Он чувствовал, что теперь же отправит домой телеграфную просьбу на отпуск со службы до сентября и останется тут, останется охранять это странное, редкое, рыжее человеческое существо.

Женщина пела, и он ей прощал и прощал и простил уже ее смешные, растущие где-то едва не по бокам, едва не из-под мышек, тощие груди, и многое прочее он ей тоже простил.

Со стороны процедурного корпуса громко сказали по мегафону:

- Вниманье, вниманье! Еще раз вниманье! В санатории в командировке сейчас находятся крупные медики из городов. Спешите к ним все, кто хочет проверить свое здоровье...

Тогда, обгоняя неловких собратьев, курортники двинулись рысью в те помещения, где находились командированные начальники жизни, отцы долголетия, звезды, наука.

Виктор Антонович первые метры лидировал. Но скоро его далеко обошли по прямой, потому что на какое-то время в переполохе

он вынужден был задержаться около Рогова - культурник отец Флорентий упал со столба.

- На фиг мне эта работа? - спросил, поднимаясь, культурник.

В разных концах процедурного корпуса уже подбирались по признаку хвори отдельные голые группы мужчин. Без колебания Виктор Антонович Панский назначил себя к психиатру. Собственно, Панский отродясь ничем не страдал, - если ему захочется, он может сейчас перейти к терапевту, к онкологу или к зубному. Но к терапевту, к онкологу или к зубному стояли совершенно незнакомые люди, а здесь, к психиатру, вместе с ним в очереди оказался еще один новичок - гражданин из приличной горняцкой семьи. Оба они, то есть Панский и новичок из горняцкой семьи, более четверти часа назад поселились в одной палате - в отдельной облупленной башенке над флигелями санатория.

Врач-психиатр был карликом. В детском больничном халате врач-психиатр носился вдоль шеренги голых людей и тыкал каким-то дурацким своим острием им в животы, как в забор, и подпрыгивал, чтобы ударить еще любого из них по выбору между ресниц молоточком наотмашь.

В программу его консультации входило, вероятно, раздражить нарочно пациентов до крайней нужды.

- Ты кусни их еще электрическим током! - вдруг закричала старуха-уборщица под потолком.

Никем не замеченная до этого, она надзидала события через открытую настесь фрамугу из коридора.

Мужчины, чьи нервы и нервочки были совсем не способны оказывать сопротивление в бедствиях, кинулись прятаться от нее.

В панике только один гражданин из приличной горняцкой семьи оставался на месте.

- Я Катасонов Семен Семенович, - сказал он старухе.

- Не слепая, вижу, - сказала старуха.

- Нет, посмотрите внимательно. Я Катасонов Семен Семенович.

- Тот самый Семен, - согласилась старуха. - Мы за тебя, дурака, переживали, что и рассказывать долго. Зачем без штанов-то стоишь? Собирайся, голубчик Семен, собирайся!.. Батюшки-светы, а что тут такое творится? Чего это, а? Нет, поглядите на них, а потом говорите! Все как один нагишом... Вот я не знала этого... Вот, дура, вляпалась...

### 3.

Рыжеволосая Клава поддавалась ему на людях, где не было проку от этой затеи, а были помехи. В обед, например, она ела борщи из одной с ним тарелки. На танцах она целый вальс виновато с мучительным видом залезала к нему под рубашку на грудь, будто бы грудь человека, куда ей хотелось проникнуть по самые локти, - у нас заповедное стыдное место. Навыкрик, с расчетом на то, что ее обязательно слышат другие, она смеялась его анекдотам на пляже.

Но Виктор Антонович Панский потратил из отпуска несколько ценных часов на нее впустую. Однажды вечером перед отбоем они миновали ворота поговорить на шоссе о любви. Санаторий остался далеко за спинами. С разных сторон без конца наступали кусты и деревья. Рыжеволосая Клава должна догадаться сама, что сегодня в кустах будет, как он захочет. Виктор Антонович видел возможность считать эту женщину после прогулки бок о бок примером большого разврата в своей биографии, - словно хозяин огромного этого леса, прикидывал мысленно самые смелые случаи блуда и выбрал их все, они все для нее хорошо подходили.

Рыжеволосая Клава была из поселка, в котором она изо дня в день подстригала и брила мужчин, потому что работала там в парикмахерском зале при станции железной дороги. Клава работала плохо. Нетрудно поэтому всю ее жизнь протяженностью в тридцать без малого времени лет изложить на тетрадной страничке в коротких строках, как письмо о терпении. Клава терпела обидное слово - обслуживать. Было обидно обслуживать местных клиентов, которые, как господа, выбирали себе в прейскуранте компрессы, массажи и прочие нежности и торопились от нее по назначенным дамам. В будние дни объявлялось, однако, не много желающих бриться и стричься. И в будние дни Клава уже по-другому считала себя обиженной ими, если какой-нибудь редкий залетный клиент приходил и садился в свободное кресло не к ней, а к ее подруге. Клаве тогда не терпелось самой, своими руками уложить на пробор ему волосы и невзначай, вроде даже без умысла, заговорить с ним на разные темы. Из самых значительных здешних событий Клаве очень запомнилась свадьба двоюродной ее сестры. С этой сестрой они молодые годы прожили обе в послевоенном детдоме. За этой сестрой утвердилась в поселке недобрая слава доступной девицы. Но, к счастью, нашелся хороший жених из другого поселка, откуда ему по причине больших расстояний девица была не шибко доступной и откуда на свадьбу приехали горластые рабочие парни. Все воскресенье парни кричали, - что гуси, - и все воскресенье пили московскую водку. Под вечер охрипли. А на ночь охрипшие тихие парни забрали себе в компанию девушек и воротились назад, туда, откуда приехали и где специально устраивали тоже богатое продолжение свадьбы еще со своей стороны. Клава скучала без них в общепитии в хаосе грязной посуды одна, потому что никто не позвал ее вместе. На сдвинутых в новые точки столах повсеместно валялись остатки свадебной пищи. Весь коридор застилали куски папиросного дыма. В уборной после нашествия гости оставили надписи. О, не расскажешь, какие там были секреты на каждой стене крупным почерком! Клава прочла эти страшные перлы мужских откровений и побежала прочь. Но через минуту она вернулась и еще раз прочла поскорее на каждой стене все нацарапанное по штукатурке - все до последнего слова. Она не могла себе даже позволить представить такое, не могла поверить в такое, о чем говорилось, но, стало быть, в принципе это возможно, если написано. Значит, она оказалась не в той категории женщин, кому повезет. В комнате Клава нашла поясок от рубашки и гвоздик - теперь уже точно случится еще одно новое самоубийство, как ни тужи. Ногами касаясь поверхности у табуретки, она остано-

рожно смотрела, что дверь заперта на щеколду. В любое мгновение Клава могла потерять равновесие, после чего прекратится ее дыхание. Это могло случиться буквально сейчас. Но Клаве хотелось еще подождать, чтобы это случилось немножко потом. Довольно солидное время она простояла в петле. С непривычки очень устала. Вдобавок ей сделалось очень грустно, ужасно грустно, так грустно, что она готова была наружу выйти сама из себя - пожалеть свое тело извне. Дальше, не соображая, чего она ищет, Клава схватила куклу с рыженькими, как у нее самой, волосами и по ошибке давала ей грудь, будто кормит ребенка... Наутро, конечно, явились подруги, и жизнь постепенно опять вошла в свои старые рамки и нормы. Изю дня в день в этой жизни текла из крана подогретая вода для компрессов. Стаями изю дня в день по поселку ходили домашние серые гуси, которые очень оралы под окнами, - наверно, о том, что они чьи-то жертвы. Ползали между домишками изю дня в день с одинаковой скоростью грузовички поселковых контор. Изю дня в день в общежитии девушек шли разговоры о счастье. Это семейное счастье - много они не хотели и знать - присутствовало во всех разговорах и во всех вариантах не прямо, а косвенно, только с намеком, под видом далеких от этого самого счастья вещей. В комнатах около взбитых пуховых подушек сидели в кроватях большие целлулоидные куклы с мальчишескими именами - всех этих Валер, Игорьков и Володей изю дня в день наряжали в чистое или купали. Клава надеялась на перемены в своей судьбе. Очень возможно, что как-нибудь вечером, когда она будет дома, почтальон принесет конверт на ее имя от неизвестного лица. Это какой-то один молодой человек в письменной вежливой форме просит ее о замужестве. Клава, я знаю, - будет написано в этом письме, - вы некрасивая, но зато порядочная девушка. Мне красоты и не нужно. Я сам некрасивый. Но ничего. Мы привыкнем. Крепко целую. Ваш Александр. Или Павел. Пусть Николай. Наплевать!..

Пожалуй, пока им не сделалось скушно, пропустим эти и все другие подробности ее интимного прошлого.

Клава искоса смотрит на Панского - Виктор Антонович, словно бы нехотя, но так, что приходится все-таки слушаться и подчиняться, толкает ее легонько плечом в сторону от шоссе. Да - такой человек, по ее убеждению, в обществе женщины не распустит до полу слюни в нужный момент, а сделает все, что положено.

Клава идет с ним в направлении черт-те куда.

- Тут! - говорит он ей наконец как приказ.

Клава стоит неподвижно: она боится росы. Тогда Панский кладет ей на голову руку, под тяжестью которой у нее начинают дрожать колени. Клава еще не знает, еще не может она ни понять, ни догадаться, что именно в этом случае надобно сделать, чтобы мужчина был добрым, - вот он рукою хочет вдавить ее во весь рост в землю. Она поспешила расстегивать верхние пуговицы кофты. Но Виктор Антонович глазами потребовал большего. Ноги ее подкашиваются - медленно, как по стене, она, держась за его пиджак, сползает на корточки.

Вдруг за кустами кто-то громко высморкался.

Неслышанно перепугавшись, они торопливо покинули брачное место.

Иной раз тебя лесная дорожка заводит прямо в болото или на колхозную пасеку, но чтобы ты пришел в церковь, - это впервые слышим. Клава и Виктор Антонович были тоже немало удивлены, когда в самой чаще они наткнулись на небольшую русскую церковь из бревен.

Около церкви сидел на веревке раскормленный домашний медведь. Чтобы медведь не впадал в меланхолию, ему невысоко от земли повесили пустую консервную банку. Было противное зрелище. Медведь трогал банку зубами и лапами. Банка отскакивала от него на небольшое расстояние, чтобы по возвращении дать по морде, а он, получив по морде, валился на спину и подергивал пузом, и вместо того, чтобы рвать и возмущенно метать, он играл, унижался, подобно котенку с клубком пряжи.

В церкви пахло, как в парикмахерской, - если принюхаться, Клава сказала бы точно, какими сортами одеколона.

Бородатый священник читал со сцены тексты Писания на бледных листах бумаги, словно бы жег там валежник, - штук десять старушек и стариков прихожан смиренно слушали, как сухой и колючий голос его потрескивал в тишине, словно костер. Отдельно от них молилась в специальном углу знакомая уборщица из санатория, движения этой старухи во время молитвы напоминали манеру, когда человек чешется.

Виктор Антонович Панский попробовал вникнуть в смысл непонятных в обычном простом обиходе библейских фраз, он подошел поближе и подождал, и скоро уловил и усвоил красоту их звучания.

В Библии речь шла о том, что Господь сотворил человека из земли.

Для этого выбрал, конечно, самую жидкую грязь, - подумал Виктор Антонович Панский.

Оказывается, Бог сотворил человека по своему образу и подобию.

- Ах, даже так! Интересно. Но почему миллионы людей не похожи один на другого, ежили все они точные Божии копии? Родные сестры и братья внешне бывают разные.

...Господь нарек человека Адамом и поселил в Рай в качестве сторожа сада.

- Выходит, что рай у него был аграрным, - подумал Виктор Антонович. - Это уже никуда не годится.

...Адам кушал плоды и корни деревьев, которые рвал или выкапывал, но однажды Бог ограничил свободу питания.

- Что это за рай, где жрать не давали? - подумал Виктор Антонович снова не без ехидства. - Концлагерь какой-то.

...Вот дерево добра и зла, от него ты не ешь, ибо в тот день, когда вкусишь от него, смертью помрешь.

- Ну, всё было так, как сегодня.

Для увеселения Бог сотворил человеку много разной скотины и велел ей дать имена. Корову Адам тотчас же назвал Коровой. Зайца, подумав, Адам нарек Зайцем. Но дальше ему изменила фантазия - не знал, как назвать лягушку. Поначалу Адам заикнулся было назвать лягушку тоже Коровой или Зайцем, но Бог сказал, что этот номер уже не годится, - требуется другое новое назва-



ние. Какое? Корову Адам назвал Коровой, зайца - Зайцем, а как, в самом деле, назвать лягушку? Понатужившись, он придумал имя лягушке похлеще, чем у коровы - ту он назвал примитивно Коровой, дал лягушке имя похлеще, чем у зайца, - помните, он зайца назвал просто Зайцем. Лягушку Адам очень метко назвал Лягушкой, потому что она все время прыгает. Оставалось еще много зверей и животных без имени. Первый человек утомился и начал пороть такую несусветную чушь, что теперь мы ломаем себе языки от таких неправильных слов как инфузория, гиппопотам или курочка ряба. Скуи в Раю не стало меньше. Прибавился только навоз. И тогда Бог загипнотизировал Адама, чтобы вытащить у него из живота ребро и создать из ребра девицу.

- Кто это я? - спросила она у Адама и ткнула себя указательным пальцем в пуп.

- Голова болит после операции, - сказал Адам. - Отвяжись!

Беда нашей пропаганды, думал Виктор Антонович Панский, в том, что мы наивно пытаемся победить церковь отрицанием библейских легенд как фактов из прошлого, а дело вовсе не в этом. В Библии каждая сказочка по-своему красиво изложена и указывает душе человека нравственные ориентиры, чего за последнее время не сыщешь в нашей литературе. Панскому стало маленько стыдно за то, что он пытался минуту назад сам иронизировать над Библией по пустякам. Но и церковники хороши тоже. Если хотят уцелеть, пора бы им перефантазировать и заменить другими представления относительно Бога. Нынче Бог у них трактуется высокопарно в образе грозного начальства. А кому это надо? Это старо. Начальство порядком нам надоело. Нет, будь любезен, подай мне хо-рошего и нормального Бога, мне нужен Бог из низов, Бог, который не погнушается поговорить по душам, пойдет со мной париться в баню и согласится выпить. Дай мне в товарищи этого Бога! А то - что за Бог, если он только и знает грозить и пугать. Сейчас это каждый сопляк умеет - грозит и пугает. Так что же, каждого будем бояться, как Бога?

В церковь ворвался еще один бородатый потный священник в такой же широкой и темной одежде, что и у первого.

- Как наши дела? - закричал ему первый в том месте Библии, где Ева рожала Авеля.

- Я идиот, - ответил второй оглушительно на всю церковь. - Они показали мне кукиш.

- Как это, кукиш? - спросил первый. - Не имели права!..

- Имели, - сказал второй. - Они его в переносном смысле показывали. Говорят, что бронза и медь - сугубо фондированные материалы, и дескать, пора вам, ну, то есть нам, научиться делать кресты из пластмассы. Ты можешь сделать крест из пластмассы?

- Нет, - сказал первый. - А митрополит может?

- Тоже нет, он только языком болтает.

Неожиданно все старики и старухи переменялись в лице, и оба попа притихли. Виктор Антонович испугался, что все они смотрят на Клаву. Не обращая на них внимания, спутница Виктора Антоновича собирала платье в складки у себе на бедрах, как если бы здесь было море и волны могли замочить ей подол. Уже открыва-

лись ослепительно белые ноги. Затем она одарила народ вовсе не нужной ехидной и одновременно жалкой улыбочкой. Что было дальше, всякий, кто это видел, волен истолковать по-своему. Возможно, Клава впервые просто-напросто почувствовала исчезновение в себе прежней зависти к женщинам или, скорее всего, захотела в какой-то мере повторить, точно урок, эпизод, который недавно случился в лесу. Мы не знаем доподлинной причины ее поступка. Клава упала перед Виктором Антоновичем на колени. Виктор Антонович прямо-таки обалдел. Ощущение гордости за то, что перед ним на коленях при публике женщина, чувство стыда за нее, что она на коленях, жалость к ней, ибо все-таки где-то сокрыты причины этого, - и то, и другое, и третье, и всё вместе, - окончательно лишило его способности сделать что-либо разумное и виртуозное. Пятясь назад, он исчез из церкви, оставив ее в такой кинопозе.

Следом за Панским из церкви выскочила знакомая старуха-уборщица:

- Не путайся ты с этой девкой, нельзя с ней! - кричала она ему.

- Что такое? - строго спросил старуху Виктор Антонович.

- Нельзя с ней! Разве не видишь? Она же белая офицерша.

В первоначальном влечении к женщине Виктор Антонович всегда чувствовал только биологически необходимое действие, по законам которого все должно совершиться легко, - пришел, увидел и победил. Это есть самый ужасный обман самого себя. Женщины кажутся издали чем-то вроде тех пластиковых манекенов, о которых писали в прессе, что делают их величиной в человеческий рост для коммерции на забаву. Издали, а вблизи? Вблизи в каждой женщине - мышь. Нет, не такая мышь, которые бегают осенью в поле и на колхозных токах и вызывают к себе отвращение, - этих мышей Виктор Антонович Панский не любит до смерти, боится. Другие есть мыши. Домашние мыши, которых тебе не противно взять в руки и жалко. Они, словно комочек тепла с мокрыми грустными глазами.

Панский не шел, а бежал по лесу. Он чувствовал некую сильную боль - эта боль исходила от Клавы. В процессе общения с Клавой в него каждый день незаметно вползала чужая жизнь. К собственным его трагедиям, к собственным его нуждам и мыслям в этом процессе незаметно добавились также трагедии, мысли и нужды еще одной человеческой судьбы, а иметь две судьбы - тяжело.

#### 4.

Семен Семенович Катасонов, круглолицый и рябоватый под грецкий орех мужичок, внешне напоминал ломового извозчика, которые нынче, правда, перевелись в городах, но перед самой войной они еще были, шумели и пахли, и многие пожилые граждане их там еще помнят, - во всяком случае, Виктору Антоновичу долго никак не

хотелось верить, что Катасонов действительно работает где-то на угольных копях начальником по электрической части, отдавая должностные приказы и понимая какие-то сложные схемы. Но кто нас теперь разберет, - может быть, нынче все ломовые извозчики переучились на инженеров, поэтому нет ни хороших извозчиков, ни деловых инженеров. Отдыхал Семен Семенович в санатории не как другие - ни разу не повалился на пляже, ни разу не принял участия в массовых мероприятиях, никому о себе не писал на родину, а ежедневно куда-то ходил и нередко был пьяненьким. В нем постоянно чувствовалась некая апатичность и нелюдимость. Семен Семенович никогда не вступал в разговоры первым и ни о чем никого не спрашивал, словно бы всё знал сам заранее или же был уверен заранее, что ответят ему обязательно только какую-нибудь сплошную глупость. Нетрудно представить, что жить с таким человеком с глазу на глаз в одной палате санатория было для Панского куда как не весело. Случалось, что целыми днями они молчали: Виктор Антонович перелистывал библиотечные книжки, а Катасонов лежал в одежде поверх одеяла на своей койке лицом к стене. Не спал и не бодрствовал. Единственной на весь большой санаторий личностью, с которой Семен Семенович находился в каком-то общении, была как раз, как ни странно, именно та старуха-уборщица. Горняк и старуха, оказывается, были между собой знакомы уже давно. Подобно участникам какого-то заговора, они хранили какие-то свои общие тайны и, видно, боялись друг друга, подстерегали друг друга на каждом шагу, выслеживали, чтобы не очутиться врасплах беззащитным на случай претензий другого.

Однажды он предложил Виктору Антоновичу партию в шахматы - нашло на него непонятное что-то.

В шахматах он проявил себя сильным противником.

Игра началась, как во всех любительских встречах, с попыток обеих сторон захватить свободные выгодные поля в центре доски. Опасных атак еще не было - были только маневры, которые ровным счетом пока ничего не значили.

За долгое время бесконечной суеты в этом санатории Панский впервые спокойно покуривал в кресле и норовил думать медленно.

Катасонов, наоборот, очень смешно наклонился носом к самой доске. Было похоже, что Семен Семенович по запаху выбирает, какую фигуру отправить в тыл неприятеля, чтобы добиться успеха. Наверное, он сходит ладьей - вот так зубами схватит ее и поставит в другую позицию.

- А вы близорукий товарищ! - отметил культурник отец Флорентий такую манеру Семена Семеновича сидеть за доской.

- Ты будешь мешать! - нелестно сказал ему Катасонов сразу, когда некоторое время назад в самый разгар поединка культурник отец Флорентий пришел к ним из коридора, где он от нечего делать хрустел суставами пальцев рук.

- Не буду мешать и подсказывать тоже не буду, но должен отметить, что король у товарища Панского стоит криво, - сказал культурник отец Флорентий и попытался установить короля правильно и нормально.

Семен Семенович его оборвал:

- Не трогай, тебе говорю!..

- Это не ваш король, - оправдывался культурник. - Ваш стоит хорошо, я к нему ничего не имею.

- И не твой, чтобы лапать.

- И, нет, не ваш.

- И не король это вовсе, - пошутил Виктор Антонович, дабы предотвратить между ними ссору.

- Как не король? - спросил культурник. - Это король! Сели играть, а фигур не знаете... Безобразие!..

- Это я сам, - пояснил Виктор Антонович насчет короля.

- А слон белого поля кто? - допрашивал культурник отец Флорентий.

- А слон белого поля - это мой друг из Казани Петя.

- В миниатюре, конечно? - вопросительно согласился Флорентий. - А королева кто?

- А королева - наша уборщица тетя Зина, - сказал Виктор Антонович, чтобы культурник отстал.

- Уборщица наша? - переспросил культурник и посмотрел на Панского.

- Эта старуха? - не поверил и Катасонов.

- Она, - подтвердил Виктор Антонович.

- Нет, вы серьезно это решили? - Катасонов поднялся и заходил по комнате.

Семен Семенович воротился к столу, занял прежнее место, принял прежнюю позу и долго разглядывал королеву противника.

Флорентий тоже ее разглядывал:

- А знаете, она похожа.

- Тогда продолжаем игру, - сказал Панский.

- А кто буду я? - закричал отец Флорентий.

- Хотите быть фланговой пешкой? - спросил его Панский.

- Нет, уж позвольте! В чинах оно как-то и неудобно. Я хочу быть вместо Пети слоном.

- Петя мой друг, а вы мне никто, Флорентий Флорентьевич.

- Мало что друг! Он в Казани, во-первых, а я был генералом и в культпоходы вожу вас, понятно?

Виктор Антонович Панский оценил положение на доске. Для фигурок Виктора Антоновича это положение было очень тяжелым, близился проигрыш - надежды на благополучный исход явно уже не предвиделось. Несомненно, что следующие комбинационные ходы Катасонова станут разгромными.

Но Семен Семенович снова поднялся из-за стола и процедил сквозь зубы:

- Хватит, сдаюсь!..

- Нет, это я сдаюсь, - растерялся Панский.

- Позвольте, он первый сказал, что сдается, - вмешался культурник отец Флорентий.

Катасонов еще раз бесцельно прошелся по комнате и лег на свою койку лицом к стене. Теперь никто, пожалуйста, не пытайтесь тревожить его вопросами - он все равно не захочет ни отвечать, ни разговаривать, ни шевелиться.

Скверный упрямый характер.

Виктор Антонович решил выйти на улице Клаву.

Нежаркий, неветренный день понравился Виктору Антоновичу

именно той необыкновенной и той неподвижной, словно бы кем-то нарочно здесь остановленной тишиной, к которой нельзя привыкнуть быстро. Вдоль по тропинке, между кустами акаций, было, как на собрании, много организованных бабочек: кое-какие сидели на ветках и на траве, иные же, зная, что им обеспечено новое место, перелетали во всех направлениях, и несколько штук по-караульному наблюдательно просто висели в воздухе, энергично махая крыльшками.

Виктора Антоновича охватило предчувствие близкой радости. Это было - безотносительно к его поискам Клавы - предчувствие вовсе какой-то абстрактной радости без причины. Одновременно сделалось боязно, что неизвестная радость не состоится, ей помешают. Сколько ни убеждал себя Виктор Антонович не бояться этого, ибо смешно бояться, потому что не только пока не предполагаются те условия, которые помешают радости, но и самой-то радости еще не было, - сколько ни уговаривал, не мог перестать бояться, ну, хоть ты лопни!..

По тропинке Виктор Антонович обогнул санаторные корпуса и обшарил площадки для массовых игр. Он с отвращением заглянул в комнаты смеха. Но Клавы нигде так и не встретил.

На специальном стенде возле конторы каждое число месяца обычно вывешивали фамилии тех, кто накануне уехал из санатория, - больше, в конце концов, исчезнуть ей некуда. Однако фамилии Клавы там тоже не было.

Пробившись через акацию, тропинка скользнула вниз, и теперь она струилась по склону холма к речке. Виктор Антонович намеревался пройти по мосту, но увидел спиной к себе Катасонова, который следил за кем-то на берегу.

- Что это вы, как в засаде? - спросил Панский.

- Тише вы! - сказал Семен Семенович сердито шепотом. - Она стирает белье.

- Кто? Подумаешь, какая диковина!..

На берегу старуха-уборщица, наверное, чтобы малость подзаработать себе на хлеб, стирала чужие мужские рубашки и чужие дамские летние платья.

- Мыло берет, как нормальная, - злился Семен Семенович. - Тряпки она выжимает и за ухом чешет нормально. По-вашему, эта старуха не сумасшедшая? Что, по-вашему?

- А вы нормальны?

- Еще бы! Вполне.

- А ну почешите за ухом!

- Зачем? У меня не чешется.

- Для экспертизы необходимо.

- Пожалуйста! Вот.

- Значит, и она тоже совершенно нормально чешет за ухом, - констатировал Панский.

- Но попробуйте к ней подойти поближе, - не унимался Семен Семенович.

- Попробую! Мне неудобно разыгрывать невидимку.

Старуха повернулась в их сторону. По всей вероятности, из разговора мужчин до нее доносились некоторые подозрительные обрывки.

- Как ваши успехи, бабушка? - крикнул ей Панский.  
- Да вот живу, - сказала она приветливо.  
- Порядок! - Виктор Антонович обрадовался такому хорошему ответу.

- Что будем делать с рыжей? - спросила она серьезно.  
- С Клавой? А что с ней?  
- Я говорила, что это - белая офицерша.  
- Бросьте меня смешить. Белых уже полвека нету...

Семен Семенович тоже оставил свой наблюдательный пункт. Старуха при его появлении чуточку растерялась. Однако взяла себя в руки и сделала вид, что озабочена чем-то другим, и не осмелилась срочно схватить белье, чтобы уйти, как хотела. Семен Семенович, ни слова не говоря, разбрасывал на песке ногами мокрую кучу рубашек и прочего - он без досады топтал это все и пачкал. К удивлению Панского, старуха ему не перечила. Наоборот - поощрительно шустро запрыгала и притворилась доброй:

- Эх, Семен ты, Семен! Зачем рейтузы на дерево кинул? Всегда что-нибудь придумаешь новое. В кого ты такой баловной? Мы за тебя, дурака, переживали, что и рассказывать долго...

Очевидно, эта глупая игра у них продолжалась бы бесконечно, если бы метрах в трехстах отсюда вовремя не загорелась столовая.

- Пожар! - возвестил им Панский.

- Пожар, - согласилась старуха задумчиво.

- Пожар? - прошептал Семен Семенович, бледнея при виде пламени. - Но только не думайте! Не смейте и думать, что я виноват в нем...

- И не оправдывайся, - сказала ему старуха. - Само бы оно не вспыхнуло. Кто-то поджег.

- Нет, нет, нет! Честное слово, - твердил Катасонов, хватая старуху за рукав, когда они вместе бежали к столовой.

Людей на пожар собралось достаточно. И никто не пытался сделать что-либо полезное - глядели, толкались, плакались на тесноту. Только один культурник отец Флорентий, почему-то в громадной, не по размерам его головы брандмейстерской каске и почему-то с ружьем в руках, бегал возле горящего здания в этом событии.

- Марш по домам без паники! - требовал культурник у толпы.

Виктору Антоновичу показалось, что этот пожар - еще одно ради увеселения публики мероприятие. Виктор Антонович втайне любил пожары. Его удивляла их красота, когда горел дом или что другое. Нравилось, как перед твоими глазами плавают бездна огня и за маленький срок создает множество редких по выдумке композиций. Нет, что хотите, но человек присвоил огонь у природы, имея в виду далеко идущие цели. Это огонь научил его быть художником.

- А кули фамильные на чердаке не сгорят? - спросил Флорентий старуху.

И она испугалась:

- Батюшки! Что же теперь?

- Ничего, - авторитетно успокоил ее Флорентий. - Ты наживешь себе новые, хлама кругом сколько угодно...

Все знали привычку старухи держать по разным укромным углам в санатории нечто похожее на тайники, где она копила негодные старые чайники, варежки, ветхую мебель со свалки, веревки, коробки и даже куски электродов, которые хозяйственно и небрежливо собирала почти ежедневно в уличном мусоре, на что была мастерица. Возможно, горящий чердак тоже являлся одним из таких ее тайников. Поэтому, когда старуха отделилась от первого ряда толпы и полезла на крышу горячей столовой, Виктор Антонович услышал визгливый хохот присутствующих и засмеялся сам. Напрасно Флорентий убеждал старуху, что, дескать, если сокровища на чердаке и в самом деле погибнут, то после пожара останется кругом столько других ненужных предметов, что она с лихвой пополнит ими свои запасы. Старуха не слышала, ее окружало пламя. Смех в наших веселых рядах прекратился, и было ужасно смотреть на то, как старуха теперь махала возле своей головы короткими руками, надеясь, что испугает и прогонит огонь.

С этой минуты Виктор Антонович Панский уже никогда не любил пожары.

Панский кинулся на Флорентия:

- Меры нужны, иначе - сгорит! Понимаете, срочные меры!..

- Какие? Жара - больно веки открыть. Словно солнце к носу приблизили...

- Любые, какие хотите! Не знаю.

- И я не знаю! Стрельнуть в нее, что ли, чтобы не мучилась?

- Се-е-е-е! - закричала старуха. - Ко мне-е-е! Помогите, помогите!..

- Эй, бабка! - засуетился Флорентий. - Пожалуйста, только без паники, только спокойно. Ты думаешь, мне так легко застрелить человека, когда он кричит? Ошибаешься. Страшно. Не знаю, как это получится...

- Се-е-е-е, помогите!..

- Ну, ежели будешь орать, то пошла бы ты к черту, - струсил Флорентий. - Я вегетарианец, понятно тебе, старой дуре?

А Катасонов наощупь уже приближался к старухе по крыше.

Старуха теперь не металась на чердаке. Она тихо сидела на досках, в промежутке между горящими стропилами, и уткнула колени в грудь.

- Ну, вот еще номер! - негодовал Флорентий на Катасонова. - У меня тут для вас не двустволка.

Под страшные звуки сирены разъяренные автомашины пожарной команды возникли откуда-то перед глазами Виктора Антоновича. Парни в брезентовых куртках посыпались из машин на землю.

Скоро огонь был погашен - струи воды превратили пожар в грязное месиво.

## 5.

Вечером Семен Семенович воротился из медицинского пункта, переодетый в сухое и чистое, как после работы или какого-нибудь путешествия. Было похоже на то, что сейчас он попросит еды и начнет на всю ночь рассказывать свои впечатления - ты его только слушай. Но слушать тебе его не сулило ни выигрыша, ни интереса. Панский, наоборот, рассчитывал на другое, на то, что Семен Семенович как можно дольше останется под наблюдением разных врачей, пока не залечат его ожоги. В расчете на это Панский уже поспешил через третье верное лицо пригласить запиской к себе в комнату Клаву - ему было необходимо разобраться с ней в тех отношениях, которые между ними остались неопределенными и еще не имели финала.

На крашеном столике возле Панского лежала без переплета библиотечная книга про телепатию. Боясь насмешки со стороны горняка за выбор себе для чтения такой странной темы, Виктор Антонович намеревался прочесть эту книжку конспиративно, то есть один, без свидетелей, да не сумел.

- Всё хорошо, - сказал Катасонов, беря в руки именно эту книжку про телепатию. - Я только чуточку локоть обжег. Видимо, когда к чему-нибудь прислонился.

- Заживет, - пообещал ему Панский. - Я очень рад за вас.

- Давайте прощаться, - неожиданно сказал Катасонов. - Сию минуту домой уезжаю.

- То есть? - не понял Панский. - Разве ваш отпуск окончился, или же кто вызывает?

- Я был не в отпуске, а получал некий долг с одного человека.

- И уже получили свое?

- Куда там! Должник оказался банкротом. Есть неприятные люди. Не думая, что их ожидает дальше, они лезут в долги, как на Пасху. И представьте, они даже знают, что сколько потом ни старайся, не возвратить и половины того, что берут. Знают, и все равно берут. Поганые это людишки на свете!..

Панский отнюдь не разделял с ним этого негодования. Виктор Антонович сам был не очень охотник возвращать взятое в долг. Он смотрел на такие вещи с иной колокольни. А именно, - когда человек просит в долг, значит, его хорошенько прищучило в жизни, и нет у него лучшего выхода. Допустим, пойду ли я что-либо просить к тебе, к такой противной морде, если у меня есть свое? Не пойду. И ты ко мне не пойдешь, потому что я тоже противная морда, хотя и прикидываюсь добреньким. И никто ни к кому не пойдет. Унизительно! Кредиторы имеют здесь преимущество. Но ежели ты что-то когда-то мне дал, то - спасибо, пожалуйста, и до свиданья. Мало ли в жизни приходится каждому из нас делать какие-нибудь одолжения многим другим не только деньгами? Не мало, а много. Вот некто спасает кого-то от гибели. Разве теперь между ними долг? Тот, кому посчастливилось стать спасителем, будет



теперь ходить хлопотать, чем же спасенный ему оплатит и куда тоже голову сунуть в пекло, чтобы спасенный почувствовал, как ему тяжело его было спасти? Не будет? Не будет! Но кредиторы - вот кто поганые люди - будут. Они всегда хотят возвращения долга. Рады, ежели им возвращают без опоздания. А зачем, а с какой это стати я буду тебе возвращать? У тебя самого сейчас разве такое же положение крайней нужды, которое было у меня, когда ты мне это одалживал? Не такое? Не такое. Ну, и катись - до свиданья, спасибо, пожалуйста. Тем более варварство - ехать так далеко вымогать у старухи, которая тряпки стирает на хлеб.

- Кстати, а как самочувствие этой старухи? - спросил Виктор Антонович не без ехидства.

- Вы сами видели, как, - сказал Катасонов. - До тла она не сгорела.

- Врачи-то сказали что про нее?

- Отмахнулась ваша старушка от них. Не доверяет, боится - угробят.

- Чудачка, - подумал вслух Виктор Антонович.

- Возможно, - согласился с ним Катасонов.

- Не надо, это неинтересно, - начал оправдываться Виктор Антонович, когда Катасонов стал невзначай перелистывать книжку про телепатию. - Это от скуки и несерьезно.

- Напрасно вы так говорите о телепатии, - обиделся Катасонов и отложил книжку на прежнее место.

- А вы считаете, что все-таки возможна какая-нибудь научная ценность телепатии для человечества?

- А почему бы и нет?

- Очень она таинственна.

- Очень возможно вот что: все наши с вами представления в естествознании, а стало быть, отсюда и во многих других областях идут лишь в каком-то одном направлении. Ну, то есть, - мы находимся как бы только в одной системе отсчета. И очевидно, некоторые явления, что попадают к нам из других систем отсчета и не могут быть объяснены по законам нашей жизни, вызывают у нас недоумение либо иронию. А жаль!..

- Благодарю за прекрасную лекцию, - сказал Виктор Антонович, не ожидавший от Катасонова именно этой настолько ученой реакции. - И кто виноват?

- В чем? - спросил Катасонов, доставая из-под койки большой дорожный портфель.

- Да выходит, что мы живем в неправильной системе отсчета.

- Почему неправильной? Я этого не говорил.

- Ну, в неудобной, если хотите.

- Не знаю. Забавный вы парень. Пытаетесь найти уголовно ответственных за то, что мы с вами живем так, а не иначе. Нет их. Человечеству следовало с чего-то начинать жить и устраиваться на совершенно пустом месте. Вдобавок, никто не знает, - может быть, иначе хуже, чем так. Главное, все должно иметь свою конкретную ценность. Без обмана.

- Вы добрый?

- Нет. Прощайте!..

Оставшись один, Виктор Антонович почему-то в позе, которую

он подглядел ранее у Катасонова, когда тот хандрил и скучал, улегся на койку в одежде поверх одеяла. Стенные часы показывали позднее время суток, — конечно, Клавы сюда сегодня уже не будет. Виктор Антонович не знал, что делать: огорчиться ли ему по этому поводу или, наоборот, обрадоваться и расценить ее нежелание прийти как естественный и спокойный конец их отношений. Разумеется, главное — правильно расценить, ибо все должно иметь свою конкретную ценность. Итак, огорчиться или не надо? Но много радости, пожалуй, здесь не получится: все-таки, что ни прикидывай и как ни суди, но от тебя, дорогой, отказались и бросили. Но и грустить не хотелось тоже — не позволяла удобная поза на койке.

Вдруг ему сделалось очень и очень не по себе. Виктор Антонович Панский порядочно перетрусил, когда обнаружил, что он лежит не один в этой комнате. Он совсем не спал, но в целях проверки на всякий случай шире открыл глаза. Нет, никто к нему не входил и никого другого, конечно, здесь не было. И все-таки кто-то присутствовал. Панский медленно припомнил и припомнил, что раньше он тоже нередко чувствовал возле себя постороннее чье-то присутствие. За ним следили в лесу с деревьев. Наблюдали каждую ночь из темноты на улице или из окон соседнего здания. Даже в порожних автомашинах, которые после рейса обычно стояли в боксах напротив его служебного кабинета, даже в одежде, что кучей висела дома на стенке, и даже в крошечном пламени спички, когда он прикуривал, повсюду кто-то постоянно прятался и подглядывал его жизнь.

Теперь этот кто-то вцепился в голову и начал дышать в глаза, стоило только открыть их. Виктор Антонович попробывал выскользнуть на пол. Не получилось. Но, решил Виктор Антонович, ежели я еще жив, то чудовище это, возможно, не вредное и не желает меня погубить окончательно.

С разных сторон на него посыпались вроде бы даже шлепки ни за что.

Панский почувствовал много опасных нелепостей в своем теперешнем положении, в том, что оставаясь в игре, не знал даже ее условных знаков, которыми можно просить о пощаде не мучить тебя.

Чудовище было по-прежнему непонятным, и не имело оно по-прежнему ни формы, ни внешнего облика, ни цвета, ни запаха и неизвестно откуда явилось, а шлепало.

## 6.

В тот вечер Клава стояла одна перед непомерно большим, во всю заднюю стену зеркалом в вестибюле корпуса Виктора Антоновича.

Некоторое время назад Клава прочла уже упомянутую нами записку и надела красное, новое, самое лучшее платье, в котором

отправлялась за приключениями в комнату Виктора Антоновича, а по дороге купила еще сигареты. Клава, конечно, не собиралась от радости выучиться курить, эта привычка нисколько ее не прельщала - просто купила себе еще сигареты, потому что они красивые.

То, что она затем увидела в зеркале, озадачило Клаву. Ее отражение там совершенно не соответствовало ее представлению о себе. Мысленно Клава рассчитывала, наоборот, появиться перед глазами Виктора Антоновича интересной, незабываемой, счастливой, сверкающей, черт возьми, словно фонтан на празднике, и загадочно пошевелить в губах дорогой сигаретой. Но в зеркале, вместо придуманной, как ей хотелось, девушки высшего общества, она увидела испуганное фальшивое существо, у которого были особенно заметны сутулость и худоба.

- Вытащи изо рта сигарету, - сказала она себе.

Ей стало стыдно.

И она поняла в бессилии, что клеймо, которым несправедливо ее отметила жизнь, - клеймо никому не нужного человека, - это клеймо, обрекая ее на одиночество, уже никогда не сотрется, сколько теперь ни старайся. Время ее прошло, и теперь остается ей только лишь собезьянничать поведению девушки, которую якобы посетила первая любовь и которой поэтому на все на свете решительно наплевать.

Первая наша любовь возникает в специально назначенные для этого девятнадцать или же восемнадцать, а то еще раньше лет, когда в голове у тебя одни глупости. Тогда и ошибки, и даже поступки, выходящие за рамки обыкновенных нормальных понятий, прощаются всем нам по несерьезности.

Теперь - ничего не простится.

Ни людьми.

Ни природой.

Раздумывая это, Клава стояла одна как бы в каком-то туманном пространстве.

Размеры огромного зеркала в вестибюле удваивали это пространство до ужаса.

## 7.

В полуподвальном жилье при зашторенных наглухо окнах больная старуха лежала под электрическим светом. Панского там поразила вся убогая обстановка, но больше всего поразила смешная кроватка. Дощатая, узкая, словно полоска от нар, откуда старуха не падала на пол, хотя ни за что не держалась, расположившись спиной, как приклеенная.

После пожара люди болтали достаточно разного вздора в первые трудные дни болезни старухи. О ней говорили и так и этак. В умах по всему санаторию личность ее на короткое время заняла важное место. Мы были обязаны знать и тужить о старухе. Но ско-

ро, как это часто бывает, люди привыкли и уже относились к старухе буднично.

Болеет, - стало быть, нужно, чтобы она и болела.

- Присядь, - сказала старуха Панскому, когда накануне отъезда домой Виктор Антонович зашел к ней проститься.

- А я не надолго, - ответил Виктор Антонович, оглядывая жилье и соображая, на что бы тут, в самом деле, устроиться сесть.

В противоположном от ее кровати углу находился Флорентий Флорентьевич Рогов. Культурник отец Флорентий сидел на неясной низенькой мебели и, очевидно, давно покрывался пылью.

- На пол садитесь по-турецки, - посоветовал Рогов, разгадав его мысли.

Панский не понял, насмешка ли это или же, наоборот, попытка помочь, потому что больная старуха настойчиво требовала глазами, чтобы Виктор Антонович куда-нибудь все-таки сел на место. А куда? Ты уступил бы из чувства приличия вошедшему свое место, баярин, подумал Виктор Антонович о культурнике, раздражаясь.

Культурник отец Флорентий как бы опять разгадал его мысли:

- Не бойтесь, на пол садитесь. Подметали его. Больше не на что, сам сижу на помойном, можно сказать, ведре.

- Как вы себя чувствуете, а? - спросил Виктор Антонович, только потому, что перед уходом отсюда надо же что-то сказать.

- Благодарю, отлично! - отозвался культурник отец Флорентий. - Мне торопиться некуда.

- Да я не о вас! - рассердился Виктор Антонович. - Как вы себя чувствуете, бабушка?

- Никак, - обидчиво зашевелила губами старуха. - Я померла.

- Идиотизм высшей марки! - закричал Флорентий. - Ворчит, что она померла, околела, а у самой еще боль в животе имеется.

- Имеется, - сказала старуха.

- Она разрешает, хотите потрогать живот у нее?

- Не надо! - перепугался Виктор Антонович. - Я все равно не медик.

- Я тоже не медик, но мне интересно потрогать. И никто не медик, а живот лежит рядом и почему бы его не потрогать? Разве это не интересно? Никогда бы не догадался, что у других животы такие. Вот он, животик, вот он какой, мягкий-мягкий. Чего хнычешь? Нет, если ты померла, околела, то, извините, но у тебя в животе не болит, и дышать ты не можешь.

- А ты можешь? - спросила старуха.

- Нам все можно, а ты не дыши.

- Брошу сейчас, - пообещала старуха.

Виктор Антонович отдернул с окна занавеску и посмотрел на улицу.

- Вон по всему санаторию люди горюют, что с вами это случилось, - сказал он.

- Знаем таких горевателей, - жалобно запела старуха. - Ходят снаружи, а сами только и думают, как поскорее зарыть меня в землю. Я пока здесь полежу. Вот одного ихнего возле себя оставила и глаз с него не спускаю...

- Нет, - заверещал Флорентий. - Я захочу и уйду...

- Сиди где сидишь.

- На помойном ведре я - вот где. А чего мне тут делать? Ты померла или нет, признавайся!..

- Помереть-то я померла, околела, как ты говоришь, это правильно.

- Тогда не волнуйся, время придет, и мы все тебя там догоним.

- Я не волнуюсь, а я боюсь валяться одна, хошь и мертвая, понимаешь?

- Вот идиотка!..

Через вспотевшие грязные стекла окна Панский увидел на улице Клаву, и у него защемило в груди. Между ними все было кончено. Виктор Антонович поэтому и не бросился следом за ней, не окрикнул ее и не дал о себе никакого знака. Она куда-то шагала неторопливо по своим делам и заботам. Виктор Антонович смотрел на нее из окна несколько сбоку, и ему захотелось сильно заплакать или же стать волшебником, чтобы потом сотворить этой женщине чудо. Какое? Какое-нибудь. Лучше всего сделать так, чтобы она никогда-никогда не старилась. В человеческой старости что-то есть унижающее всякую женщину и что-то непоправимо обидное и для нее, и для того, кто ее любит. Он хорошо понимал, что не может надеяться на ремесло чудотворца, хотя ремесло это нужно ему не для того, чтобы стать корифеем, а на один всего-навсего раз для одной всего-навсего женщины.

Флорентий опять перехватил его взгляд и затараторил, как замурлыкал:

- Какая девка, глядите! Она прямо черт, но безрогий, конечно, и женского рода. Если вы уже к ней ничего не имеете, то разрешите использовать. Тут есть идея. Ищу персонаж. Моя покойная генеральша Фрося оставила после себя дорогие наряды. Не возражаете?

- Против чего?

- Мы заведем патефон. Мы заставим ее под музыку примерять все эти платья и юбки и двигаться. А сами будем курить и над ней любоваться рядышком. Нет, после она, конечно, всё снимет и положит назад. Порядок пусть остается порядком.

- Глупость какая! - сквозь зубы выдавил Панский.

- Не глупость! Не глупость, кто понимает. Вы ей скажите, она согласится. Скажите, что я человек горячий и непокорный. В сорок четвертом за это из армии выгнали. Лежал я тогда на Кубани в госпитале, на костылях, как вот эта старуха, которая тошно орет, что она околела, а сама еще теплая мертвая и одна оставаться боится. Вдруг по дорогам сплошные обозы. А это они, тыловые и разные крысы, кто пороха вовсе не нюхал и от войны убежал самый первый, теперь возвращались в родные края на телегах с добром. Ну, выскочил я на шоссе и давай их за это лупить костылями. Трах-тара-рах!.. Вы, говорю, с какого же будете фронта? С Ташкентского? Наши, кричу, города занимать идете? Трах-тара-рах!.. Вот я какой... Без пенсии...

## 8.

Скажите мне, почему в нашей памяти остаются пожизненно воспоминания порою какого-нибудь не самого главного и даже не очень приятного в прошлом события?

Ну, почему?

Не знаете вы - почему.

Однако бывает так: ты про это именно какое-нибудь событие вроде бы честно не думаешь, занят по самое горло другими вещами, ибо измотан другими новыми впечатлениями, и спрос с тебя уже за другое, и насмешки над тобой уже по другому поводу, и все равно ничего не забыл, что когда-то с тобой случилось.

В памяти наших героев хранятся такие события тоже.

Не для обмана, а для удобства мы нарочно воспроизводим их на бумаге и размещаем в этой главе в специальном порядке, по-своему, будто бы это случилось всё одновременно.

Итак.

Возвращаясь из рейса, Виктор Антонович Панский в тайге напоролся трехтонкой на сучья валежника и проколол колесо. Виктор Антонович вылез наружу, достал из кабины домкрат, инструменты, курево и приготовил запаску. Январский ветер дул в него на дорогу прямо из-за деревьев со всех четырех сторон белого света, дул в уши и щеки, которые стали болеть от мороза.

...А Клава сопровождала из детского дома уже упомянутую однажды где-то в этом нашем рассказе двоюродную сестру на любовную тайную встречу с одним человеком, которого эта сестра почему-то боялась наедине без свидетелей. Знала она, то есть сестра ее знала, не Клава, что если он захочет, то может с ней справиться. Конечно, не то чтобы она, то есть всё опять же эта сестра, о ней пока идет речь, порешила не уступать ему того самого дела, какое открыто и даже нисколько не церемонясь он предлагал ей, будто бы лузгал на улице семечки, - нет, ради Бога, пожалуйста, думала эта сестра, но прежде чем уступить, мне надо к нему привыкнуть чуточку.

...В этот момент, когда Виктор Антонович Панский ползал бочками по снегу, а Клава шагала рядом с сестрой в качестве охранной грамоты, Катасонов, о котором мы не забыли, прел в пересыльной тюрьме, ожидая большого этапа.

...Из белой тайги, как это и полагается, вдруг о своем аппетите загудели голодные волки - они и вправду не вили по-волчьи в тайге, а тошно гудели, да так, что с ними Панскому было не скучно.

...Клаву чужой ухажер ущипнул для начала знакомства.

...А Катасонов, зажатый коллегам по заключению, лежал на тюремных нарах в такой неслышанной тесноте друг к другу, что с левого бока на правый бок они переворачивали свои тела по команде старосты камеры только все вместе, иначе тревожишь соседа, за

что получаешь по морде!..

...Сперва домкрат хорошо работал и опирался на что-то своим основанием, так называемой пяткой, надежно. Потом в один миг все полетело насмарку. Домкрат неожиданно выскользнул из-под машины. Точнее, упал под нее как бы навзничь. Виктор Антонович поздно сообразил, в чем дело, и поплатился за это. Рука оказалась придавленной под колесом. Чувствуя всё увеличивающуюся тупую боль в области кисти этой руки и почему-то вдобавок боль в области сердца, Панский неподвижно лежал на корочке льда, покрывшей временно малый участок земли, о котором он ранее ничего не знал, не догадывался, не думал, что именно здесь предстоит помереть, - либо сейчас замерзнешь, либо к тебе, как на мясо, сбегутся голодные дружные волки устраивать свадьбу. Разумеется, Виктор Антонович не мог и даже не смел предположить, что это еще ничему не конец. Пожалуй, не перечислишь, сколько там в будущем ждет его, сами того не зная, разных людей - великих, чтобы им помыкать, носатых, чтобы мешать ему чего-либо слушать, когда они будут сморкаться, сердитых, чтобы трепать ему нервы, аккуратных, чтобы он удивлялся, какие они аккуратные, наивных, чтобы ему было с ними смешно, и прочее. А как ему было предвидеть что-либо конкретное насчет Клавы? Просто никак не предвидеть. А - Катасонова? Тоже никак ничего не возможно было предвидеть в такую минуту насчет Катасонова.

...Клава загадочна и неприятна, словно она под гипнозом. Скорее всего, ей очень неловко, что она оказалась помехой в этой компании, где вместо активной защитницы, на главную роль которой ее позвали, она проявила себя как лицо с непонятной задачей, все делает наоборот и все заодно с ухажером - она целует сестру, она унижается перед сестрой, она помогает ему, чтобы сестра уступила. В конце концов, она сама гасит свет. Затем на своем постороннем месте, какое она заняла в постороннем углу и съежилась, Клава дышит вкусным запахом чужого тепла и пота из темноты.

...Катасонов валял дурака как хотел. Только что надзиратели в камеру сверх всякой мыслимой в обществе нормы расторопно толкнули еще одного нечестивого мужа. "Новенькие" в тюрьме мало чем отличались от "старослужащих" - пожитков с собой не носили. Но тот был богатый. Пришел с мешком за плечами. Всех охватила зависть к нему, когда он сел в самом центре на пол, когда извлек из своей частной собственности, изнутри своего мешка, огромный кусок поросятины, когда начал жрать, чтобы жить. Говорят откровенно, Семена Семеновича со товарищами здесь кормили не только одной овсяной баландой. Давали деликатесы. В качестве деликатесов прямо-таки насильно заставляли во время прогулок жевать, сколько можешь, еловую кору из бочонка в конце коридора, дабы не хворали цынгой. Но хотелось чего-то другого. И поэтому после того, когда, постелив на цементном полу голубую перинку, новичок задремал на ней, как младенец, у них начались беспорядки. Товарищи Семена Семеновича разорвали в клочья продуктовый подсобнохозяйственный мешок новичка и все, что было съестного, немедленно съели поровну. Спи, мол, спокойно, дурак.

...Панский зубами вцепился в свободную часть прижатой руки. Невкусная, теплая, липкая кровь пачкала щеки. Во рту было гадко. То и дело приходилось отплевываться. Сознание безвыходного положения, в котором он, как на привязи, должен погибнуть, толкнуло его на этот безумный и страшный поступок. Шанс - перегрызть себе руку - не сулил ему полной конечной удачи. Но Виктор Антонович не прекращал усилий. Он чувствовал нечто ненужное и онемевшее там, где должно находиться запястье, - там находился, казалось, приросший кирпич, от которого надо скорее избавиться.

...Клава еще оставалась в своем забытии, сидя в своем углу, когда стало тихо. Послышались босые шаги, приближающиеся в ее направлении. Наощупь, вытянутыми вперед руками двоюродная сестра отыскала ее лицо, и последовал сильный удар. За ним был второй и был третий удар, и еще было много других ударов по голове. Все это Клава терпела. Она не кричала. Страшной казалась ей такая жестокость, что можно бить в темноте человека, бить туфлями, не видя, куда попадаешь, не видя, как ему больно. А вдруг рассекла губу? Искалечила глаз? Убила?

...Сытый впервые за многие месяцы заключения, впервые отяжелевший с добрых и, вероятно, очень питательных для организма харчей, Катасонов предчувствовал близкий обморок - теперь ему не хватало воздуха. В камере сделалось нечем дышать. Семен Семенович выдавил локтем кусочек стекла в окне. Это тотчас же должны заметить сторожевые вышки на улице. Придет гражданин корпусной начальник. Спустит тебя на сутки в кондей - так называется карцер. Семен Семенович поэтому, пока не пришел, подставил язык под морозные струи воздуха. Кто-то просил одолжения в махорке. Кому-то хотелось пить, и он тоже мучился.

## 9.

Возвращаясь из санатория домой, Виктор Антонович Панский на пересадочной станции ждал в буфете свою электричку. Его никак не сердило то неприятное для пассажиров железных дорог обстоятельство, что электричка будет не скоро по расписанию. Дело не в том, когда она будет. Пусть хоть вообще на глаза не показывается. В душе у него все равно пропало чувство той обязательной радости человека при возвращении домой. Этого дома ни где больше не было. Ни этого, и ни какого другого. Был только адрес прописки, чтобы тебе где-то значиться, если кому-то приспичит искать. Виктор Антонович ни о чем не жалел. Теперь ему все одинаково неинтересно и многое даже не нужно. Он приобрел себе новое качество - причислил себя к разряду вечных бесцельных странников. Но вовсе не потому, что ему очень нравились эти бесцельные вечные странники. Нет. Просто-напросто отныне в его настроении, в его поступках, огромных, средних и маленьких, в его расчетах больше уже ни над чем не довлела сила привычки,



которая ранее часто подменяла собой скрытый и видимый смысл его жизни, той его жизни, такой его жизни, где, если изъять эту силу, ничего уже не останется. И не осталось.

Виктор Антонович Панский в буфете, где ждал электричку,пил теплое жидкое пиво. В иных обстоятельствах Панский по поводу пива шумел бы, чего оно жидкое, - ясно, что кто-то разбавил его водой. Он за свои любезные мог бы еще возмутиться также и тем, что, мол, не умеют у нас хранить для продажи этот хороший старинный напиток. Теплое пиво в такую погоду - невкусно.

Однако в буфете, где Виктор Антонович ждал электричку, он думал высокие мысли совсем не про это.

Кстати, найдутся скептики, которым будет охота состричь, дескать, как это Виктор Антонович ждал электричку в буфете? Спросят, она за ним прямо в буфет обещала заехать, что ли? Но скептикам лучше заткнуться. Всё здесь написано правильно. Ждал электричку в буфете. Буфет находился не в помещении станции, а был, чтобы вы не острили, организован на самом виду - на перроне и чистом воздухе.

Панский не поверил своим глазам и чуть было громко не ахнул от удивления, но удержался и только легонечко, чтобы другие не слышали, охнул. Недалеко от себя он увидел Семена Семеновича, шагающего по деревянному мостику ниже перрона. Как же так? Семен Семенович, помнится, выехал из санатория очень давно и теперь должен был находиться за сто километров от этого места, самое малое. Нет, Виктор Антонович не бредил - он явственно видел как раз не кого-то другого, очень похожего на Катасонова, а самого Катасонова. С ним рядом шагал слепой человек, который держал его за одежду, чтобы горняк не свалился в канаву по пьянке. Семен Семенович был откровенно шибко пьяным. В роли поводыря он едва разбирал под ногами дорогу и чувствовал землю, но все-таки что-то слепому советовал, как им идти. Попробуй определить в этой паре - кто кому более необходим.

- Познакомьтесь, это мой старый друг, - отрекомендовал слепого Семен Семенович.

- Очень приятно, - ответил Панский.

- Нет, встаньте и поклонитесь, если вам это не трудно. Он инвалид и герой.

- Нисколько, - сказал Виктор Антонович.

- Встал? - спросил слепой.

- А как же иначе?

- И поклонился? - спросил слепой.

- И это тоже.

- А то я вчера, - сообщил слепой, - продавал одному чудаку расческу, а он оказался лысый.

- Ну, что ж! - вздохнул Катасонов. - Однажды меня самого подвели эти лысые.

Слепой оказался проворным и даже на редкость нахальным субъектом, что в принципе противоречит нашему общему мнению о слепых, дескать, они всегда тихие. Речь его сыпалась бисерно и без запиночек, будто бы эти слова, которые он сейчас выговаривал, он заранее в нужном порядке и темпе отрепетировал дома, наперед зная всё, о чем тут пойдут разговоры. Ел не жуя. Это

было тем более странно видеть, потому что во рту у него красиво торчали крупные желтые зубы. Виктор Антонович почему-то опасался того, что слепой будет икать. Действительно, так оно и случилось. Тогда Панский растерянно, словно бы сам он икал, начал судорожно отхлебывать из кружки глоточки теплого жидкого пива, которое теперь не понравилось ему еще пуще прежнего. Небось, налили туда горячего кипятку за кулисами. Жулики и проходимцы. Пристыдить бы их на собрании. Написать бы про них в центральную прессу, чтобы в буфете у них возникла паника. Не получится подлости, если даже по твоему сигналу ими займется ОБХСС.

- Ну, как поживает моя должница? - спросил Катасонов.

- Старуха? - спросил Виктор Антонович. - Скончалась тому два дня...

- Что ж! Это плохо, конечно, - сказал Катасонов без всякой тени сочувствия и сожаления в голосе.

- Вы от нее ничего не добились, - сказал Панский. - Много она вам осталась должна?

- Что, Леша? - спросил Катасонов слепого. - Можно поведать нашу сказочку этому человеку?

- Поведай, какие у нас от него секреты. - Слепой заерзал на стуле, взъерошил волосы на макушке, потом развел руками и за одну секунду, как зрячий, перевернул на столе кверху доньшками все рюмки и все стаканы, которые - каждую рюмку и каждый стакан отдельно - накрыл бумажными салфетками. Жесты его и его движения были рассчитаны безошибочно. Панский со страхом почувствовал в них много скрытой стихийной энергии. Бесспорно, бедовой этой энергии хватит ему на всё. С этой энергией можно перевернуть кверху доньшками аж всю посуду на свете, если ее привезут в одно место. С этой энергией, если он пожелает, можно заговорить, заласкать и замучить без исключения всё человечество, можно заставить вас двигаться вправо и влево, подпрыгивать, падать куда он покажет, не будь он слепым. Вот ведь какой нашелся чертенок! В иное время Панский для интереса захотел бы познакомиться с ним поближе. Теперь это страшно. Оригиналы, способные только на то, чтобы только куда-то истратить избыток своей энергии, убедить тебя в чем-то, в чем тебе убеждаться не обязательно, заставить тебя сделать то, чего вовсе тебе не нужно, эти оригиналы пусть нынче будут хоть временно несимпатичны за то, что они почти беспрепятственно умеют гипнотизировать наши волю, нервы и память.

- Слушайте, я от нее ничего не добился! - сказал Катасонов.

- Мы с Лешей заранее знали, что я еду к ней попусту, и все-таки ехал, не вышел в дороге из поезда. Думал, а вдруг посчастливится! Леша приехал позже. Не утерпел. Что нам она должна?.. Вы помните годы безумия? Вы их не забыли. Правильно. А стыдно теперь? Правильно, очень стыдно. Ну, а что вы ответите, если услышите, что никакого безумия не было?.. Мы вместе с этой старухой в те годы на шахте работали. Я и Леша - под землей инженерами, где уголь кололи, а она - в конторе всё так же уборщицей, а в стенпечати всякий раз густо пушила на чем стоит свет любого и каждого, кто попадался на зубы. За что? За недостатки, которые только она и видела. Очень она активничала повсюду, считала себя

бесконечно полезной для нашего общества, ценной. Даже таскалась в кружки на занятия. А в промежутках во все совала свой грязный нос поглубже, нюхала, чем это пахнет, опять же считая себя бесконечно полезной и ценной для нашего общества. Беда, коли запах не нравился. Тогда она, дура набитая, требовала срочной проверки. Конечно, в расчет ее серьезно не принимали. Однако проверки были. И знаете что? Срочные.

- Стало быть, все-таки проверяли? - спросил Виктор Антонович. - Вас тоже проверили?

- Да не совсем чтобы так оно было. Леша, а что ты молчишь? Ты ведь это всё лучше расскажешь.

- О! - закричал слепой, как от боли. - Не надо! Я расскажу вам, давайте, как летом я наострился в саду по деревьям лазить. Лезешь куда-то наощупь, ползешь по сучкатуму дереву, будто бы ты путешествуешь в новой стране. И долго сидишь там. Кругом ветерок. Высота. Отдыхаешь. Но однажды подкрался квартальный - потребовал штраф на основании того, что моя милиция меня бережет, чтобы я не сломал себе шею, когда упаду, если впредь буду лазить...

- Ты подожди! - оборвал его Катасонов. - Что было дальше? Как раз на шахте в лифтерской комнате мы с Лешей хотели заменить проводку, ну, электрическую проводку, и набросали для себя в мой блокнотик чертежи перед тем, как поехать домой обедать, а уборщица это заметила. Ночью меня за это дело забрали. И Лешу забрали ночью. Пришили статью, что мы похитили на работе секретную схему, то бишь, конечно, тот самый чертежик.

- И сколько вас проверяли?

- Ровно семь лет.

- А старуха?

- Свидетелем шла на следствии. В то время она еще не старухой считалась. Потом она помогла проверить еще много таких же вредителей и разгильдяев, как мы. Но все-таки раз надоела до тошноты своей помощью следователям, и они ее самую на проверку куда-то дели.

- Скорее всего, чтобы избавиться, на ключ где-нибудь заперли да в суматохе забыли, - сказал слепой.

- Тоже семь лет сидела...

- Нас погубила обыкновенная, в сущности, баба, - сказал слепой.

- Обыкновенная баба, - подтвердил Катасонов. - Нормальная. Я в этот раз специально по просьбе Лешы приезжал ей в глаза посмотреть - что там такое, какое теперь выражение? Страх, торжество или жалость у бабы? Честное слово, нам абсолютно безразлично, что в этих глазах - страх, торжество или жалость. Важно, там что-то творится, происходит - иначе не успокоимся. А там - ничего! Вы понимаете - ничего! Глаза как глаза, нормальные, и красные жилки струятся по яблоку. Такие глаза у людей возле рынка, когда возле рынка встретятся двое совсем незнакомых, взглянут друг на друга и разойдутся. Ничего - это нам непонятно. Как это можно? А исторический опыт, а выводы разве отсюда не вытекают? И никакой проблемы не ставится больше? Судя по этим глазам, - никакой! Значит, все было нормально. Значит, нормальные люди безжалостно

и беззаботно уничтожали таких же, как они сами, тепловых, таких же здоровых, с руками, с ногами людей совершенно нормально, и ничего ненормального в их поведении не было. Послушайте, это же плохо, если окажется, что ничего у нас в государстве не было.

Виктор Антонович в негодовании кисло поморщился, когда выпил из кружки все пиво до капли. Недалеко на мосту у перрона стояла толпа человек в восемьсот под конвоем. Одетые в белые куртки, это мошенники многих буфетов на свете признали себя виновными перед законом за теплое жидкое пиво и дожидались заслуженного наказания. Женщины горестно плакали в этой толпе. Небритые мужчины держали в руках рюкзаки и детишек. Теперь они все умоляли взволнованную молоденькую судью приговорить их к расстрелу, дабы никогда потом не узнать, что у них ничего так и не было.

## 10.

К вечеру Виктор Антонович приехал на старое место, где жил. Бесцельно и вопреки человеческой логике он шлялся часа полтора в окрестностях крошечной станции и, наконец, по чугунной обшарпанной лестнице зачем-то полез на высокий виадук, куда притащил даже свой чемодан, радуясь уединению от людей, потому что не надо толкаться с прохожими, узнавать в них знакомых, здороваться с ними.

Веселым железом грохотала обычная жизнь внизу - та самая жизнь, которая внешне обманчиво кажется определенной, понятной и в полной мере организованной в слаженную систему, чью стройность нельзя подвергать никакому сомнению, ибо из труб на крышах пенится сверху дым, ибо во всех направлениях света проложены ленты хороших железных дорог, ибо есть разные клубы и электричество, та самая жизнь, которая, ежели примешь участие в ней серьезно, поражает тебя размерами несоответствий того, что написано в книгах, с тем, что ты знаешь и видишь на самом деле, страшит приблизительностью результатов, развалом, жестокостью, та самая жизнь, а не другая.

В качестве некой последней своей надежды он хотел громким голосом крикнуть: "Люди, это же я - ваш Виктор Антонович Панский!" Кричать было глупо. Да и что означали эти слова? Он попытался было уйти снова в игру, что очень любил делать раньше, пуская в ход все свое воображение. Но игры больше не было, а было жуткое чувство жуткого одиночества.

По небу текли облака, бесконечные, темно-серые, сентябрьские облака, за которыми скоро наступит время дождей и слякоти. Уличные фонари потеряли уже свою ту особую летнюю яркость и тихо желтели на тоненьких ножках,

.....Приближалась  
Довольно скучная пора.

Владимир РЫБАКОВ

# ЗАКОН

РАССКАЗ

Луна была полной, но выть совершенно не хотелось. Годы копили осмотрительность, осторожность давила на инстинкты. Свалявшаяся шерсть была грязна и зимой. На истертых боках оставался от нее лишь пушок, не свежий новорожденностью, а пахнувший скорой смертью. Бояться издохнуть Серый не умел. Ратоборствовать за существование, за кусок теплого мяса, за убежище было вложено в него законом, сущность которого Серый не хотел познать. Но ведал он и часто гордился тем, что его порода распознавалась среди других упорным желанием не различать силу и насилие: если возможность представлялась, он убивал не столько, сколько нужно для еды, а больше, много больше, убивал до изнеможения. И был счастлив. Тогда он охотно, подчиняясь высшей силе, дольше обычного выл на луну, призывая бога волков порадоваться с ним его мощи. Теперь не хотелось. Восемнадцать возбуждений от большого желтого глаза, не зажмурившись сияющего над мордой, прошло с тех пор, как выпало много клыков из старой пасти Серого, отпали и были пожраны землей. Полупустые челюсти многотрудно удерживали добычу, редкую теперь, издевательски подвижную.

Лесополоса выдыхала из себя запахи двуногих. Серый засеменял прочь: добыча могущественная, можно самому стать добычей. Он знал двуногих, знаком был с их обычаем издали вонзать в тело множество горячих зубов. Всё же двуногие были его добычей.

Забившись под вырывающиеся из земли корни теряющего соки жизни дерева, Серый стал устраиваться на ночлег. Всё как обычно. По ветру видимость могла быть никудышной. Против ветра взгляд должен был расстилаться. Слуху покой был неведом. Воспоминания запахов обычно не томили Серого. Беспokoйно лился на

его голову, пробиваясь сквозь корни, свет ночного солнца, любимого волками. Не выдавая, он освещал труды ночных охот.

Серый и Семен Зыков в те дальние времена разными дорогами пробивали себе путь к большому лесу.

На фронте, ползая в атаку, Семен лишался мечты и жажды жить; трепетало и извивалось одно тело. Только оказавшись невредимым в окопе, он вспоминал о своем уме. Как-то получил Зыков от приязненного соседа писульку: "Свалялась твоя Катерина с твоим папашей".

- Нет такого закону! - завопил, кусая землю, Семен. В тугой узелок завязалась с той поры ссора Зыкова с законом. Когда ночью из отделения сержанта Зыкова дезертировали двое грузин и прибывший на позиции невыславшийся подполковник сказал, будто требуя чаю, сопровождавшим его особистам, указывая пальцем на Семена: "Растяпа. Расстрелять", - Зыков не шевельнулся. Он почувствовал всю бессмысленность своей грызни с законом. И озарило в эти мгновения Зыкова: есть закон во мне, во мне и мой, и есть законы для меня.

Он был настолько погружен в размышления, что подполковник добавил, махнув тем же пальцем: "Отставить! Ну его к..., сопляка этого..."

Зыков оказался удачливым: осколок, пробежавшись по семенной руке и оставив ей два пальца, начисто срезал командиру роты кадык с куском шеи. Долго вспоминал Семен охватившее его тогда блаженство: капитан умирал, хрипя через шею, он же, Семен Зыков, скоро будет дома. Вокруг будет хвоя, воздух, наполненный запахами жизни. Капитан будет гнить в земле.

Все познается через сравнение. Все, кроме закона.

Пока Зыков толкался в эшелонах, слушал правду о голоде и сказки о войне, Серый покидал места, ставшие предметом спора стай двуногих. В ослепляющем бешенстве двуногие громадными клыками разрушали деревья, разбрасывали камни и землю, мгновенно рыли глубокие ямы. Всё, обладающее лапами, разбегалось. Много раз Серый устраивался на ночлег или дневку с пустым желудком. Глаза его желтели от отчаяния. Гордость рушилась. Серый готов был жрать падаль. Так диктовал закон выживания. Изнуренные недоеданием ноги Серого продолжали привычный им скок. Жизнь была сильна в его теле, мрачность спала в нем. Серому улыбнулась грустная удача. Он шел против ветра и, когда вышла луна, Серый, не оглядевшись, от изнурения не став по ветру, завыл тягостно и нудно. Взбравшись на очередной бугор, он остановился... Шерсть наполнилась осторожностью, глаза мигнули, как положено им мигать перед последним боем. Но его волчья судьба была и сегодня за него.

Перед ним было много двуногих. Их неподвижность помешала Серому убежать. Став по ветру, он вдохнул полной грудью дух

смерти. Всё же Серый колебался. Он ждал призыва закона.

Не дождавшись, отчаявшись, подполз, обнюхал мертвую морду двуногого. Все еще очень волнуясь, стал грысть ее, чувствуя, как мясо вливает в его вены жизнь.

Так двуногий стал пищей для Серого. Так двуногий перестал быть для него запретом. Так Серый сам создал для себя закон: слабый или мертвый двуногий может стать пищей. Лучше слабый. Кровь Серого нуждается не только в пище, но и в охоте и наслаждении, гордость породы требует борьбы и сопротивления добычи.

Поев, Серый продолжил свой скак к большим лесам. Однажды, с уходом света от земли, он приблизился к одинокому обиталищу двуногих. Это было уже в большом лесу. Сделав большой круг, Серый попытался отыскать запах кутенка. Но псиный дух был устойчивым, зрелым. Будет сильный бой. Он, взбешивая себя, лягнул челюстью. Затем притаился, замер.

По тропинке к дому, сильно давя землю каждым шагом, шел Семен Зыков. Нервная веселость пробегала по лицу Семена. Наделив себя пониманием двойственности закона, Зыков решил не убивать Катерину, да, да, не лишать ее жизни и тем более не калечить отца, мужа своей матери. Войдя в хату, Семен взглядом отбросил отца к двери, затем за дверь. Чувствуя ослабевшим вдруг затылком зрачки мужа, Катерина медленно поворачивала тело, и как подсолнечник идет за солнцем, так тело ее качалось в такт шагам Семена, меряющим пол. Катерина ждала, только руки ее сами по себе защищали грудь и живот. Катерина не знала, что и в эти секунды хочет, очень хочет жить. Бражка, которой поил ее свекор, была густой и волшебной, она жгла тело. И была ли ее вина, что ушли тогда из катерининой памяти страшные глаза бабушки, глаза запрещающие, глаза внушающие, что любовь живет в душе, а честь в народе. И была ли ее вина, что рука старика была очень уж молисто-крепкой и пахла до удивительности мужчиной и табаком. Был хмель, и не было бабушкиных глаз...

Зыков походил, подумал, затем стал бить жену так, чтобы ничего не поломать, чтобы сделать очень больно; стал делать так, как задумал. И все вышло очень хорошо: Катерина, жалея себя, стала жалеть мужа. Ползая, целовала сапоги и клялась, клялась, клялась... Взяв ее, размякшую от боли, Зыков стал крутить и тереть наполнившиеся желанием груди Катерины. Жена очень страдала, но не переставала хорошо думать о Семене.

Глядя в подошедшую темень, Зыков сказал:

- В деревню нам надо. В колхоз. Молчи. Знаю, что голодно там. Что голодно нам будет. Это законы для всех. У бати запасы есть, припасены. Он будет помогать нам. А что другим будет более голодно, чем нам - это закон, что во мне, это мой закон. Это власть. Это закон, которого другие не понимают. А ты понимаешь? Как-нибудь поймешь. И увидишь. Со мной теперь не пропадешь!

Серый, выждав пока двуногий скроется, вновь пошел на псиний дух. Возле самого домика, у будки, на цепи метался здоровый двухлеток. При виде Серого пес по неопытности не залаял. Стал рвать цепь.

Серый, привыкший к терпеливому ожиданию, приготовился встретить силу опытом. Выросший на цепи, не знающий воли пес не отдавал себе отчета в своей медлительности, в своем незнании боя. Он был только уверен в справедливости своих действий.

Едва одно из колец цепи прогнулось, как широкой грудью вперед пес бросился очертя голову на Серого. Лапы пса ударили землю, пасть яростно промахнулась. Серый, сбив с лап добычу, сомкнул клыки на горле пса. В беспомощности пес вспомнил о хозяине, хотел с сожалением оглянуться на цепь. Для него было все поздно. Он рвал свою цепь для волка. Серый волоком тащил тушу к опушке. Закон в нем напоминал о сильном двуногом, и Серый знал, что до опушки он еще не победитель.

Под давлением ночи свет дня уходил все быстрее за лес и горизонт.

Захмелевший Зыков, полный неуходящими мечтами, остановился у окошка, всмотрелся, ахнул и, схватив ружье, загрохотал сапогами к выходу.

Клыки прошли поверх Серого. Не медля, он бросил добычу и ушел. Не он, — закон разжал его челюсти. Серый уходил, а другой закон, его собственный, всё продолжал вместе с кровью проходить через мозг и стучать время от времени в его волчьих висках.

Зыков, убедившись в промахе, опустил ружье. Рядом страдал, стараясь достать рану языком, пес. Семен подошел, присел, всмотрелся, плюнул на кровавые пузырьки, катящиеся из разрыва на горле, и сказав презрительно "дурень", размозжил прикладом еще дымящегося ружья лохматую голову.

Через две дневки после охотничьей неудачи Серый подкрался к деревеньке. Собаки молчали.

Их не было. Все были пожраны колхозницами. Голод лишал людей возможности думать о будущем. Поля рожали с трудом, люди считали, что с неохотой. Уполномоченные законом особые люди, одетые в шелковые рубашки с короткими рукавами (была в то время такая мода в городах), внезапно входили в деревню и по разным законам забирали всё: зерно, скотину, деньги. Всё. Одни люди доносили на других людей, думая, что их оставят в покое, думая, что закон и законы не распространяются на всё и всех. Голод мешал им думать о будущем, даже о самом близком. Как только шелковые рубашки появлялись на околице, бабы с мешками, в которых была заключена жизнь, их и их детей, бросались через мертвые огороды к опушке. Зарывать добро было бессмысленно, сосед или собственная дочь (по привычке или из страха) укажет тайник. Мужиков же в деревне не осталось. Последние десятилетия удивительно споро выкорчевывали мужское население. Когда-то во всей деревне не было ни одного безлошадника. Власть хитроумно разорила менее богатых. Разорив, направила новоявленную голь на обутых и сытых. Последних мужчин взяла война. Желая влить в свое истомленное тело каплю



ласки, баба старалась разохотить ветхого старика, сделать из мальчишки мужчину. К человекоподобным в шелковых рубашках женщины испытывали только ужас, только желание зарыться, укрыться.

Сергей Сергеевич Волковинский бил по камушкам дороги носком сапога. Вдоль дороги стлы дома. Волковинскому часто казалось, что при его появлении съезжались крыши. Это было мелочью, доставляющей некоторое удовольствие. Сергей (а затем Сергей Сергеевич) никогда не был злым человеком. Он даже любил себе подобных, не его вина, что чудесные человеческие мысли, воплощаясь в слова, искажаются, а искаженные слова, став плотью дела, становятся противоположностью человеческой мысли. Это закон, не ему его менять. Он старался точно выполнять приказы, не мудрить, но и не изощряться. Он не пролил ненужной крови целое море, он просто к этому морю не прибавил ни капли своей. Он был по натуре вороватым. Его снимали с постов, назначали заместителем, затем заместителем заместителя. В то время как его друзья, знакомые уничтожались за знание истории, он воровал и катился вниз по служебным ступенькам. Только позже, много позже, Волковинский понял, что только благодаря тому, что вор - остался жить. Уцелел. И удивился простодушно, что не понял этого раньше.

Он шел, медленно поднимая пыль шарканьем сапог, по дороге, пересекающей деревеньку. Впереди него сигналы через палисадники люди, которые верили, что можно убежать. Что можно раз, и два, и до бесконечности.

Сотрудники Волковинского разошлись по деревне. Ему же захотелось видеть падающее солнце. Пройдя мимо притаившегося Серого, Волковинский стал возле крайней избы деревни, спиной к лесу. Солнце перед падением становилось добрым и рассыпчатым. Волковинский оглядел стоящую рядом избу и, увидев через окошко женщину, забыл о своей нужде присутствовать при уходе красоты мира. Толкнул дверь. Сквозь сумрак осмотрел молчавшую женщину. Она, как другие, была истощенной, но еще не потеряла женственности. В углу избы еще светлели пятна, некогда охраняемые иконками. Под пятнами лежала на топчане закутанная в шаль девочка. Воздух избы был готов принять отвратительное существование долгой агонии.

Более полувека прошло со дня рождения Волковинского, но его тело с каждым годом все сильнее стремилось к женщине. Он любил наблюдать, как мягкое чуждое тело под ним теряло злую скованность или отвращение, как мутные отрешением глаза вдруг смотрели на него как на родного человека... пусть миг...

Волковинский сладко прищурился:

- Слушай, я хочу тебе добра. Давай совместим приятное с полезным. Приятное - мне. Полезное - тебе. У меня в сумке сало и две буханки. Если экономить - можно...многое можно. Я не хочу тебя покупать. Я хочу, чтобы мы подарили друг друга друг другу. Как?

Женщина поняла, что шелковая рубашка хочет, чтобы она легла, и что шелковая рубашка даст за это существование ей и дочери.

Только почувствовав всю безобразность своей позы, она сказала:

- Не может быть среди людей такого закона...

Сергей Сергеевич добродушно ответил:

- Может. И это еще далеко не худший.

Он запнулся, встретив глазами полный дерзости детства любопытный взгляд девочки. И заорал, в этот миг ярко ненавидя искренность:

- Козявка! Вон! Пшла!

Выйдя, в ночь, девочка щупала зардевшееся свое личико, шумно втягивала в себя лишившийся зноя воздух.

За кустом в двадцати метрах сидел Серый. Перед ним было слабое двуногое.

Сверху темный воздух все продолжал вдавливать свет в землю. Вдавил. Серый все не мог приготовиться к прыжку. На него давило прошлое волков, каждая шерстинка, каждый мускул боролся против окончательного затвердения в Сером нового закона.

Девочка, увидев катящийся к ней ком, удивилась. Лапы ударили в грудь, бросив двуногое в беспмятство, клыки, вонзившись в горло, отобрали у добычи жизнь. На этот раз Серый тащил добычу дольше обычного. Истомившись, он бросил тушку, попятился. Серый чувствовал: старые законы жили в нем, к ним присосался новый, жуткий и сладкий. Он подполз, заглянул в глаза добыче. Увидев остеклявшее удивление, несколько успокоился. Шерсть легла.

Насытившись, он счастливо завыл, угадывая за теменью ночи и туч луну. Радостное волнение не покидало его в эту ночь.

Много раз с той поры свет уходил в землю, давимый темным воздухом. А Серый все еще существовал. Его племя истреблялось двуногими. Серого сохранил его собственный закон. Во время облавных охот двуногих, когда Серый сам становился добычей, он не колеблясь, проползал под громадными красными глазами охотников. Другие волки не смели и ждали смерти. Серый же знал, что красные глаза - не глаза двуногих, он знал, что они мертвы. И Серый проползал. И существовал.

С приходом дня угасли воспоминания Серого. Оставив убежище, он продолжил прерванный накануне скок. Места не были ему чуждыми. Волнение охватило Серого, знакомое, жуткое и сладкое. Он остановился. Резкий запах двуногое витал над мордой Серого.

Председатель колхоза "Заря Коммунизма" Семен Владимирович Зыков в это воскресное утро свалил трех зайцев. Запихав добычу в рюкзак, Зыков рассеянно шагал меж соснами. Его большое тело радовалось движению, легкие шумно вдыхали резкий воздух утра. Зыков с удовольствием вспоминал похороны первого секретаря Обл-

исполкома Волковинского.

- Наконец. Подох-таки, сволочь. Хотя... Болезнь у него была какая-то слишком человеческая. Так помирать каждому хочется. Да, спокойно себе вздремнул, тихонько себе сердце и остановилось. Эх, нет правды, нет - и всё тут.

Зыков вдруг заскрежетал зубами, глаза его наполнились кровью ярости. Мертвецов не любить глупо, но секретарь жил в Зыкове своей добродушностью, легкостью, своим законом, который был сильнее зыковского.

Покойный Волковинский ничего плохого не учинил Зыкову. Не ловил на худом слове, не толкал, споткнувшегося, в яму. Даже для собственного удовольствия не угрожал. Зато для Волковинского было все легко, ему даже в зеркало никогда не хотелось смотреться. Он всегда спокойно и весело ждал своего часа. А Зыков поднимал из разрухи колхоз. Мужиков не было, с бабами труднее ладить... тихая-тихая, а в глотку вцепится, палец в глаз погрузить может. Всё может. А он, Зыков, ради колхоза, да, ради колхоза, грязь на себя положил, кровью себя полил... Было. Теперь голода нет, а он, Зыков - по праву его председатель. Живой председатель.

Блуждая, председатель колхоза "Заря Коммунизма" ушел из поля обоняния Серого.

Их разделяло несколько метров, когда взгляды встретились: Зыкова и Серого. Столкнулись и замерцали. От жадности. От опасения. Каждый из них сохранил свое существование благодаря тому, что не забыв законов общих, обрел свой и для себя. Ружье Зыкова было заряжено, но рука не поднималась. Глаза Зыкова и Серого через мгновение успокоились. Зыков почувствовал в звеневшем тишиной лесу, что выстрелить в этого зверя - было убить в себе свою силу. Он был бессилен перед этой цепкой родственностью, установившейся, не исчезающей. Нелепая радость поднялась в Зыкове до заходившего кадыка: умиление к себе, Серому, к соединившим их узам, к роднившему их миру стало в глазах.

Застигнутый врасплох Серый застыл. Быстрее приказа о бегстве из глубин его существа поднялась весть о том, что опасности нет. Сильный двуногий запахами, чуть уловимыми движениями головы говорил Серому о своей дружбе. Сытый Серый, будь даже двуногий слабым, не сделал бы из него добычи. Они были слишком похожи. Серый, медленно пятясь, стал уходить. Ушел.

Зыков сел, облокотился о ствол. Он понимал, что они не могли друг на друга охотиться. Никогда Зыков не испытывал столь сладостного и освобожденного чувства. Он понимал, он чувствовал, что они... они...

# СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

\* \* \*

- Кто лежит там на диване - Чего он желает?  
Ничего он не желает а только моргает
- Что моргает он что надо - Чего он желает?  
Ничего он не желает - только он дремает
- Что все это он дремает - может заболевший?  
Он совсем не заболевший а только уставший
- А чего же он уставший - сложная работа?  
Да уж сложная работа - быть от всех отличным
- Ну дак взял бы и сравнялся и не отличался  
Дорожит он этим знаком. быть как все не хочет
- А! Так пусть такая личность на себя пеняет.  
Он и так себе пеняет - оттого моргает  
Потому-то на диване он себе дремает  
А внутри большие речи - речи выстукает

## К Ю Н О Ш Е

Как за Краснодаром теплая земля  
Как за Краснодаром бабы шевеля  
горячими косынками  
стоят с большими крынками  
Тазами и бутылками  
Квасами. ложкой. вилками

Кто держит огурцы  
Кто собственны красы  
на мощных на ногах  
Они южанки - ах!

Приблизимся к народу  
Попробуем погоду  
и палец послунив  
и голову склонив

Холмы! Холмы зелены  
хотя и отдаленны

и белый плат Елены  
и шаль подруги Маши  
и темный взгляд Наташи...

Кого счас школы вот навывпускали?!  
Нет... ранее таких не увидеть...  
Они прошли а груди их трещали  
и воспаленные глаза под стать

Их ноги двигались темно и пламенея  
прикосновенья жаждали они  
За что рабочие все умерли жалея?  
Чтоб процветали толстые они...

Живите все в провинции ребята!  
И кормят и гуляют там богато  
и розовая кожа у детей  
и больше наслаждения речей  
полученных средь груды толстых книг

Библиотек неиссякаемый родник  
Где девы старые чисты и сухи  
Протягивают книги, тихи мухи  
летают безответственно вверху  
Вот там и зарождается "Бегу!"  
Бегу в столицу! Где другие лица!

Нет не беги. Позволь остановиться

Ты видишь взгромождения людей  
на небольших участках площадей  
Ты видишь бледные раздвинутые толпы  
Ах! В старый сад ходить побольше толку

И в греческих чувяках и носках  
из дома деревянного, в плечах  
косоного, старого, но милого уroda  
выглядывать "Какая есть погода?"

День выходной. К тебе придет Наташа  
и потечет журча беседа ваша  
Литературные журналы обсуждая  
вином домашним это запивая

Ну что тебе еще?!.. возьми жену  
Не хочешь - пей - иди - спускайся к дну

Но только дома - в милом Краснодаре  
Зачем тебе поехать. Ты в ударе!  
Одумайся о юноша! Смирись!  
В столице трудная немолодая жизнь  
Здесь нужно быть певцом купцом громилой  
Куда тебе с мечтательной силой

Сломают здесь твой тоненький талант  
Открой открой назад свой чемодант!

× × ×

Мухи летают и летают фразы  
Вечер продвигается но не весь сразу

Брат улыбается, тихо помидор ест  
А сестра качается. А в сестре задор есть

А сестра поет песенку неведомую русскую  
Очень несчастливую, то широкую то узкую

Говорится в этой песенке настоящими словами  
Как любил один одну, и друг друга целовали

А вечер замедленно в России происходит  
Брат поднимается и через дверь выходит

А сестра расстрогана своим собственным пением  
Слеза покатила. Мешается с зрением

За ней другая катится, и мокрое пятно  
Уже на белом платице. Да это все равно!

Ведь никто и не любит-то и городок маленький  
И книжки все печальные, а в октябре валенки.

× × ×

Демонстранты идут по майской земле  
Их столько лежит уже в тепле  
На кладбище парок и мусор сгребли  
От порта удаляются корабли

Отец заменяет в кармане платок  
Душит затылок, скрывает плешь  
В мае всегда винный дымок  
Красиво одетый пирог ешь

Мама танцует и папа плясал  
Да только присел он - устал  
Звучит гитара. А задний план -  
На кладбище мочится хулиган

Сирень как безумная прет из земли  
В порт Туапсе пришли корабли  
Сидят моряки - пьют красный кисель  
Качает ветер сухую качель

Пыльный наш двор. Фазан да павлин  
Две книжки Фрейда читает наш сын  
Добавив Гамсуна книгу "Голод"  
Поймем что ужасен, уныл и молод

Бродяга купается в майских волнах  
Над плавучей столовой развевается флаг  
Медузы плывут, Валунов нанесло  
И тухлая рыба воняет не зло

Перевернут баркас. Натянут канат  
Две шерстинки пеньки из каната торчат  
Мокрое дерево сложено в кучи  
С моря идут полотняные тучи

Желтое что-то надев, Погрустив  
Бродяга бросает Туапсинский залив

И уходит на станцию вдоль порта стены  
И видит на станции станционные сны...

※ ※ ※

Хорошо и вкусно быть поэтом  
Только русским комариным летом  
На старинной даче с самоваром  
Хорошо поэтом быть нестарым  
Да еще с бутылкою порой  
Обнимаясь тонкою рукой

И грибы - отрада для желудка  
В лес пойдешь - загадочно и жутко  
И с подругой Леной у воды  
Вы плюете в темные пруды

Ходит бабка как больной ребенок  
Колокольню видно за горой  
И когда пойдешь отлить спросонок  
То раздавишь ягоды ногой

Хорошо поэтом быть в России  
Но теперь Россия на замке  
И цветы косые и кривые  
У меня в протянутой руке

Бог простит земельные уродцы  
И без нас там что-то происходит  
Каждый день встанут большие солнцы  
И под вечер солнышко заходит

## **РУССКОЕ**

Текст 1971 года

### **1**

В доме царили мерзость и запустение.  
Королева была голой. Кровать была  
двустворчатой. Королева перевернулась на  
другой бок.

Виталий стоял тихо. Глаза Маши остановились  
на церкви. Ах! - сказал князь.  
Нет что вы. Сереженька! - говорила кудрявая  
женщина

Расцвели липы и каштаны - сказал Ковалев  
Лес-то какой! - сказала Муся



Холм приветливый! - говорила русская  
женщина

Вязаная шапочка и цветы розы и май  
Ловля рыб в сетку, стрекотание  
шмелей и русский человек в воде.

Доктор - вы весь в брызгах - говорила она  
сжимая его холодную руку

Мой милый - вы простудитесь - говорила  
Алешеньке Виктория Павловна

Эти фикусы мешают мне видеть вас -  
сквозь зубы произнес капитан

Солнце ослепительно и я тщеславна  
- говорила красивая Даша поводя  
плечом. Качели раскачивались. Зиял  
песок. Хмуро пахло деревьями

Было тепло. Вот и Геннадий - сказала  
она поднося руки к груди. Вот  
и он. Темный силуэт приближался

Ветер воет - сказал Виталий. Уходи к  
Дмитрию! - крикнул он и судорожно  
зажав лицо руками убежал в сад

Я люблю ее - Иван Карлыч! - плакал  
Алексей на груди у доктора

Тропинкой они спустились на дно оврага.  
Здесь бежал ручей и плакала вода.  
Я люблю вас Груня - сказал он и поцеловал  
ее руку.

Иван Иванович - свет очей моих - идите  
сюда! - закричал пьяный князь.

В оранжерее росли лимоны и розы

К нам к нам Алексей! - закричали дамы  
увидав высокую фигуру юноши

Да вы Геракл прямо, милый мой  
сказал доктор осмотрев Антона

Кучер улыбался широкой русской улыбкой.

В дверях сарая стояла Ганна и смотрела

на него. А ведь она совсем еще девочка -  
подумал он...

Иван Антонич опять пил всю ночь - сообщила  
ему мать.

В окне Григорьева горела лампа

Пашка сидел на окне и играл на балалайке

Наденька подошла к Ива́нову. - Уйди! - коротко  
и враждебно сказал он. - Алеша Алеша -  
прости меня - говорила она измученно - я  
не виновата, ей Богу не виновата. Он заставил  
меня!

Лил дождь. Она в мокром платье шла по  
бульвару. Ей было все равно куда идти  
Из нагнавшей ее пролетки выскочил  
Калошин. - Марья Николавна - куда  
Вы - едете ко мне - сказал он набрасывая  
на нее свой плащ.

Кипарисов жил высоко под самой крышей  
Дверь была красная

Эх загулял загулял загулял!  
Парень молодой молодой  
- пел пьяный Аркадий. - Аркадий Петрович  
успокойтесь - говорила робко Нина. - А ты кто  
такая чтоб мне песни запрещать. Я петь  
хочу русскую песню и буду! петь хочу!  
- закричал он

Мама́ - где живет Ива́нов? - спросила  
Таня. - Ах дитя мое - да ты же знаешь  
какой он непоседливый. Всё меняет  
помещения. Кто же его знает - где он  
теперь.

- Хороша была жизнь при Тиглатпаласаре  
и хороша была жизнь при Ассурбанипале  
и хороша была при королеве... - говорил Тимо-  
феев презрительно поджав губы. - Ассирийская  
военная держава - продолжал он...

Иоанна с распущенными волосами в одной  
рубашке стояла над ним держа в руке  
револьвер...

Мои творения принимают странный вид  
и странную форму - медленно произнес Алексей -

но я нимало не забочусь о том. Позже разберусь. А сейчас я должен их написать. сомнение в написании не помогает, - и он положил листки на стол.

"Когда Европа удалая  
быка за шею обнимая..." - читал поэт стоя у  
стола.

Вы виделись вчера с Любовью Ивановной? -  
спросил Игнатъев.

- Я рад что вы навестили меня - говорил  
Иванов провожая Любочку до калитки. - Я знаете  
ли очень одинок - приходите почаще -  
сказал он как-то по особенному пожимая ей  
руку.

офицер щелкнул каблуками и передал пакет...

В кафе было тихо. Салтыков пил водку  
и закусывал грибами. Только два-три  
человека - думал он меланхолически - нужны  
мне в мире.

Китаев лежал на кровати глядя в потолок  
изучая давно надоевшие его узоры и панически  
метался мыслью. - Не смог  
не смог он одолеть бушующий за стенами  
огромный каменный город. Город не преклонил-  
ся к его имени как ласковая морская волна  
Победил он меня - прошептал Китаев

Сумароков влез на батарею и держась  
за стенку приладил веревку на крюк.  
Глупо как все - тоскливо подумал он  
и оглянулся на захламленную комнату. Его  
чуть не вырвало и он поспешно  
сунул голову в петлю. - Как в старых романах  
- усмехнулся он и вдруг поймал себя  
на этом чудовищном "усмехнулся". Действитель-  
но - усмехнулся. Больше размышлять он не стал  
и осторожно шагнул с батареи.  
Шею сдавило...

Валя сидела перед зеркалом уже часа два  
Обнаруженные ею морщинки у глаз не  
давали покоя. Она давно забыла что собралась  
в кондитерскую где договорилась...  
- Опомнилась - опомнилась - думала она. - Ведь  
это смерть уже слегка тронула меня и теперь  
она все более и более будет трогать...

Валя не плакала. но ей было жалко себя и хотя новые люди но я...

Когда стемнело - сорокалетний Кутузов пошел провожать восемнадцатилетнюю Лизу он шел рядом с ней и разглядывая ее в неверном сумеречном освещении думал а ведь и она потрескается. расплзется Лиза же щебетала что-то свое. И конечно она давно понимала что привлекательна а этот странный человек провожающий ее ей нравился и волновал ее. Какое у него неправильное лицо...

Деревья шумели в ночи. Бабичев вышел на крыльцо дачи и стал прислушиваться. Он не ожидал от мира чрезвычайных известий, неких встреч, слов, нет. - Загадка загадка - думал он вглядываясь в мрак. - Партии, страны группы людей. А вот так один и мрак - ты в ночном белье и деревья шумят - не выдержишь и уходишь...

На другой же день после свадьбы он исчез неведомо куда. Пропал без вести.

Он сидел на кухне и ел воблу. - Тутанхамон - думал он - столько золота во мраке. в гробнице. Тутанхамон - произносил он - Аменемхет, Эхнатон, Кайя, Псамметих Озирис... Изиды... - произносил он с удовольствием и хихикал - Сэти Первый! - хорошо! - думал он. В кухне было холодно.

Бедный мальчик скорчился на диванчике и спал испуганным внезапным сном. Мокрые башмаки стояли внизу.

Карл зажег камин и сел в кресло

Потапов и Соня ездили по пруду в разных направлениях. Она играла на гитаре и пела низким голосом старинные романсы Потапов шурился. Деревья низко свисали над водой.

Шаповалов шел в плаще по городу и думал о своей недавно отшумевшей юности. Вот прошла она а теперь Шаповалову практически нечего делать на земле.

Закипел чайник засвистел ветер.

Ордаleyenский постучал к Грибову. - Пал Палыч дайте мне ваш револьвер на пару дней я хочу убить кого-нибудь. - Господь с вами - Лазарь - вы пьяны! - Нет Пал Палыч дайте мне револьвер я действительно хочу убить и именно кого-нибудь. Все равно кого Сил моих больше нет!

В палатке торговали солью крупной мясом и замками. Проуторов засмеялся поглядев на это

Васильев любил Лену но тосковал по любви иной. - Иной бы любви! - часто говорил он себе глядя на свою жену.

В прошлом веке кучер Пашка спрыгнул с козел  
А царь соскочил с трона

Стулья иногда бывают на трех ногах

Прекрасны горы Кавказа

Хороши хребты Тибета

Посылаются письма и почтовое ведомство их развозит крестьянам рабочим бывшим графиням многим кулакам в Сибирь и в Америку людям в лаковых ботинках

Мальчик посылает письмо мальчику

В разбитной день у ярких теремов Красной площади продавали квас и водку. Народ не зарился на немецкое пиво которое пили только немцы в вязаных колпаках

Людмила и русский человек Древин шли в толпе с удовольствием слушая родную им речь

На дороге лежал калека и спал подложив под голову свою тележку

Сумасшедший Гаврилов стоял на кровати и произносил речь - Я главный русский кит!

Я главная русская акула!

Голые сидели на коленях у голых

На праздничном столе была пасха и крашенные яйца. Город был пуст.

В день поминовения на могилах ели и была скорлупа от яиц, пели и играли на гармошках. Я смотрел на их детей с восторгом и завистью. Какие дикие отличные грязные дети - думал я - наружно соблюдая взрослое здоровое лицо. - Какие отличные девки грязные толстые какие жирные животные лица - восхищался я. А играла гармошка было жарко и я ходил между них будто кого-то ища

Скажу по секрету что я искал одну могилу... но ее не было.

В праздник же другой более холодный я и вовсе был наполнен видениями так что и не спрашивайте как я себя вел...

В пятницу Людмила должна была прийти и принести мне предсказания переписанные ею. Но я ее дожидаться не стал и ушел гулять в сад. гулял я долго и очень медленно, наслаждаясь медленностью своей походкой. А деревья - те совершенно оставались на местах. Голое солнце повернулось когда прибежала моя неистовая помощница. Что тебе надо? - строгим голосом прервал я ее готовую речь. - Почему ты мешаешь твоему учителю размышлять? - Простите учитель! сказала она - но я принесла вам предсказания Я сидела всю ночь... - Это меня не касается - сказал я. Но тут же пожалел ее и сказал Можешь погулять рядом! - Как же обрадовалась бедная девочка!

Когда гордое и тусклое лето уходит из наших краев все обычно ложатся на печки и становятся старыми. Улицы затмеваются. Квартиры напоминают крепости. в воздухе ходит один лишь музыкальный вал...

Память Чернышова сохранила скалы Дувра. Па-де-Кале и Ла-Манша. вечера Италии и тени острова Мальта а я представляю себе спины женщин с

которыми он спал, когда они уходили.

Нож - оружие женское - говорил он. - Коварно хорошо, мимолетно. А мы чтобы не превратиться в груды изношенного мяса вынуждены убивать. Убивать творения, замыслы а также души других людей. И вообще... - мямлил он.

Да что вы мямлите! Паршивый остаток старого! - стукнул я кулаком по столу. - Вы разбираетесь в женской одежде лучше чем в своей собственной. Я бы воздвиг вам на могиле памятником нижнюю часть женского тела. - Чернышов не обиделся. Улыбаясь проговорил Конечно - я - дурак - вогнал свою жизнь туда. Но и вы мой юный гениальный друг - вгоняете ее в другое ну не в женщину так в свои творения.

Идите вы к черту - сказал я ему. - Посмотрите какая у меня двойная ведь Венерина дуга на ладони. Я если б хотел - не хуже вас мог бы...

Но вам же это скушно - мальчик мой! произнес он с улыбкой. - Да... согласился я... - Ну вот видите. Конечно что вы более высокого полета. Вам удастся заполучить большее количество женщин чем мне. Вы умрете и давно тихо желанно смешаетесь с землей. А юные идиотки всё будут таять над вашими стихами Юные прекрасные идиоточки - цвет нации. цвет. - Старый дурак! - сказал я ему. Я чит а вы пошляк!

Неужели вам не нравится то что вас будут любить много много головок не нашедших себе иного применения они будут умиляться на ваш портрет. А ваше тело ехидно ускользнув от них уже не существует. Вам все-таки удалось подсунуть им свою душу.

Хватит! - завопил я и Чернышов - он был все-таки добрый старик - заговорил о чем-то другом. Великий бабник но и Великий Женский Друг был также Великий Формалист и потому стал объяснять мне какую рубашку нужно

и как насколько должны выглядывать манжеты из рукава.

Вечером когда море немного поутихло она в легких туфельках вышла погулять Я подошел весь пьяный, ну весь пьяный и сказал - Добрый вечер! гуляете? А вы напилась Напились как! - простодушно удивилась она Очень напилась! - согласился я. - Вы ругаться не будете? - спросила она. Нет - сказал я - не буду что вы. - Тогда хорошо - пойдемте к самой волне посидим. - Да идите! - сказал я и поплелся за ней.

В ту осень я был одержим идеей завести себе точно такие же брюки под коленку какие были у меня в детстве. Но никто не знал как выкраивать такие брюки. Я огорчился дней восемь курил и строил на бумаге чертежи. А потом все куда-то унеслось. На меня легла тьма и я забыл о тех брюках

Вот хорошее место - сказала она - мы можем здесь отдохнуть. и присела в сено. Дети вырыли в сене какие-то причудливые ходы и она тотчас же полезла в одну из дыр. Ее не смущало то что мелькали ее трусики и мне решительно все было видно. даже мельчайшие мышцы. - Римма вернитесь - сказал я ей - но она там где-то глухо захохотала и исчезла

Мой друг приехал издалека и рассказывал что он видел в далеких землях. Все то же все то же - думал я с грустью не отвечая на энтузиазм с каким он изображал тамошние нравы и обычаи

Наиболее долговечная поэзия - человеческая. О человеке - так говорил я провинциалам которые заботились о форме. Они думали что я кривлю душой.

Рукой я ухватился за карниз. подтянулся и полез вверх. Заглянув в окно увидел ее. Она лежала на постели полураздетая. ноги ее были там где подушка а голова почти упала на пол. она плакала. Вдруг она взглянула на окно...

Ты все еще держись за свое "я". Признай что



Я больше тебя и тех с тобой. Признай и служи мне.

Я лечил ее красным вином нагревая его в горячей воде. Открытое вино дымилось. Было спокойно, она лежала - выделяясь на белом белье. лечил я ее друзья мои - красным вином и приготавливая его уж надышался и был пьяным.

Резво скачущие ноги девочки вызывают в памяти другие ноги другой девочки только более развратной и противной. Давно... та девочка любила выделять балетные па и при этом специально становилась чтоб показывать мне свои всякие места, она была странная уродина эта девочка хотя на вид красивая.

Всё у меня слипается. навязла клейкая масса своих и всеобщих кусков жизни я переступаю через призрачные черноземные ямы, неожиданно выхожу из призрачных черноземных кустов Я наклоняю голову среди деревьев, она в шляпе, шляпа белая и широкая, лепечет на солнце, а пальчики просвечивают. Дамский велосипед, корзинка с клубникой, вяжущее средство дубовой коры. Вечер, светлое платье загорелые руки, бледная улыбка - мертвецы теперь все, все мертвецы.

В последнее время на террасе стал часто возникать дедушка, с особенной улыбкой и вообще старая плоть его, он стоит в отдалении на террасе и она заполнена туманом.

Во мне есть плодородия - сказал я год спустя - но нету того чем ядят и пьют и чем делают более сложные движения. Всё во вторник пожрало искусство, Я как напоенный искусством, Яд! яд! - вскричал я.

Алексей ХВОСТЕНКО

# ПАМЯТНИК ЛЁТЧИКУ МАЦИНЕВИЧУ

## записные книжки

### 1

он умер первым из тех  
кто умер вообще  
последний раз он умер случайно  
все последующие случаи  
не рассматриваются нами  
из соображений экономии времени и внимания  
внимания  
и акцента внимания  
на неотносящихся к делу подробностях

### 2

когда он умер  
мы имеем  
нам осталось  
несколько листков пожелтевшей бумаги  
исписанных бисерным почерком  
(несколько жизней-листов  
примыкающих быту отважного  
летчика  
капитана Мастуровича) -  
сотня истлевших листов кукурузной бумаги  
с мертвыми цифрами  
знаками  
и условными обозначениями

### 3

когда он умер  
мы есть  
мы находимся здесь  
(исследуя кладбище)  
с сумкой из крокодиловой кожи  
и шведскими кусачками  
мы собираем цветы из железных букетов  
вновь создавая на плоскости  
мнимый букет  
из железных цветов  
на могилы почти незнакомых  
Алеши Хвостенко  
Юры Галецкого  
Жени Михнова

### 4

когда он умер  
мы здесь  
мы читаем  
"мои руки крепко сжимали руль  
"и руки любимой  
"мои ноги всегда  
"шли по земле и траве  
"и плотно упирались в Миллионную улицу  
"я всегда умел предугадать погоду на завтра  
"я съедал за обедом любимое блюдо  
"я вешал одежду на крюк  
"я умел и ждать и не ждать"

### 5

когда он умер  
мы тут  
нам подарили  
свинцовую пластинку с записью  
слезного речитатива  
по поводу смерти  
отважного летчика Месиловича  
в исполнении артиста оперетты:  
его уже нет  
какой конец печальный  
как мысль была  
от смерти далека  
а между тем  
уж саван погребальный  
угрюмо держит  
злой судьбы рука

и далее:

и за Российский флот  
и за святое дело  
погиб теперь  
отважный капитан

Мир праху безумца Мытовича.

## **крепость на колёсах**

### **1**

длиною в милю  
или меньше  
пути отрезок был привязан  
к своим колесам.  
По тем колесам ползали змеи  
размером не более  
обыкновенной змеи-ленты  
и красотой напоминающие ужей.

### **2**

и скорее всего  
смерть отважного летчика  
капитана Масиловича  
не состоялась.  
Он не свалился с высоты более пятисот  
метров  
на холодную землю  
(во славу русского флота)  
И что он теперь  
в своей кепке и бриджах  
и что он теперь  
со своей улыбчивой смертью  
по дорогам происшествий змеи

### **3**

в самый разгар праздника  
русской авиации в Петербурге  
во время полетов на рекорд высоты  
самолет летчика Хвостенко  
и самолет летчика Галецкого  
и самолет летчика Иванова-Крамского  
летели над облаками  
над реками и озерами  
над фонтанами городских парков  
и Фонтанкой

## 4

они немного видели то  
что происходит внизу  
немного не видели ничего  
и в результате этого  
не имевшего места события  
не имевшего времени и действия  
а также пейзажа и жанра  
мы знаем удовольствие  
мы видим и ощущаем неудовольствие  
от созерцания этих строк  
и крепости-развалюхи  
на пыльной дороге.

## он уехал

памяти Велимира Хлебникова

хвала первым числам  
каждого месяца  
(когда уезжают)  
хвала каждым суткам  
начала недели  
(когда уезжают)  
хвала всем ночам  
и секундам  
(когда уезжают)

хвала летчику Митуричу  
сумевшему выкроить время  
чтоб выкрасть у времени  
контуры гения  
хвала летчику Хлебникову  
сумевшему выехать  
точно в положенный срок  
хвала летчику-испытателю Галецкому  
погибшему в бане с похмелья  
хвала летчику Мациневичу  
открывшему  
новую эру  
в истории стихосложения  
хвала  
летчику Хвостенко  
возвестившему  
это

## НАПАСТИ ПЕСКОВ

посвящается  
современнику Песков, - Некрасову

такого-то года  
(это случилось совсем недавно)  
на Песках  
снесли Греческую церковь  
- как это сделали?  
- а очень просто  
привязали к канату огромный  
каменный шар  
и качая его  
лупили по стенам  
она и рассыпалась  
- как? сразу рассыпалась?  
нет, ломали дня два  
или три  
- изрядно!

(нечто похожее на это  
написал бы Некрасов).

современник  
хе-хе  
подбежал  
подскочил  
похехекал  
и снялся  
на Никольское кладбище

хе-хе-хе  
он сидел  
он лежал в своей комнате  
пледом завесив окно  
хе

а назавтра  
старушки хехекали -  
    повалился забор,  
    укрывающий рухнувший храм, -  
    придавил человека  
    ребенка  
    и управдома

хе-хе  
дескать Бог наказал

хе-хе  
Мациневич  
лети Мацулович  
на своем злополучном хе-хе  
Мецупович  
на своем хе-хе-хе-дирижабле

## промыслы

А. С. Пушкину

уже девица  
дама  
ее включили вентилятор  
нажав на кнопку пальчиком  
выски ее  
седеют  
и прохладность  
бежит ее  
как тысячи паломников  
из Африки  
бегут в Сибирь  
чтоб насладиться зрелищем снегов

она  
торгуется с приказчиком ее:  
(се есть разумное начало природы!)  
но топнув ножкой  
и пригрозив перстом  
угрюмому юнцу  
уже смеется:  
"беги беги  
не место  
тебе на этой сковородке",  
прыткий  
он впрямь бежит  
нр в направлении обратном  
бежит ее  
(чем не челнок для гаубиц девицы!)  
он летчик  
видит все вокруг  
ей говоря:  
"испортилась проводка  
бегу чинить!"  
и  
лапками  
засеменил по полу

## приличия ради

М. В. Ломоносову

"Правда, приятно согласие музыкальное,  
приятны и колеры, но их приятность весьма  
разная."

"К чему кто склонен, тому то больше и  
приятно. Не всем одна забава угодна."

(Из речи академика И. Вейтбрехта  
о "Клавесине для зрения")

мы в колбочках теперь  
летим в стекляшках  
бусинах  
летим теперь  
и вежливо киваем встречным:  
"с добрым утром  
"здравствуйте  
"когда  
"мы снова встретимся  
"на этом промежутке  
"когда мы вновь  
"в той паузе столкнемся лбами".

(ах что за удовольствие  
лететь на чистой ноте  
иль плыть покачиваясь  
на второй линейке  
упрятавшись в бадью диеза)

и каждый раз  
Суворова встречая  
снимаем с головы ультрамарин  
а колер полководца подбоченясь  
нам тоже весело  
кричит "ура" с Монблана

вот всем на удовольствие  
война  
за право  
наслаждаться трением  
соприкасаясь с хрупкостью стекла  
и щуриться  
на яркие дощечки



\* \* \*

Голый город Москва  
Быть столице разрушенной ветром  
В одичавшую пыль проникают слова  
Как зимы наступившая оторопь  
траурным метром

Быть откуда ветрам  
Проклинать опустевшее место  
Чтобы воздуха взбешенный храм  
Навсегда пепелище покинул  
оставшего места

Неразумный Париж  
И тебя ожидает проклятье  
На лету опрокинутый стриж  
Совершенное тело покроет  
взорвавшимся платьем

И легчайшим пером  
Нежным пухом летящего праха  
Будет выткан твой дом  
Будет нищего трупом болтаться  
пустая рубаха

Не беру на измор  
Не пугаю голубку терпенья  
Всех лесов оголтелый помор  
Я не волен умением до  
безобидного пеня

Но когда навсегда  
Вы сольетесь в исчезнувшем веке  
Моей праздной мечты города  
Я вернусь к вам тогда  
Рухну в пыль вашу  
верный навеки

30 декабря 1977  
Париж

# АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

(1919 - 1977)

15 декабря в Париже умер один из самых популярных людей сегодняшней России Александр Аркадьевич Галич. Замечательный слух на русскую речь, на всех ее уровнях, вместе с огромным зарядом смеха ввели его песни в обиход каждого жителя нашей страны. О жизни Галича ходили легенды. Смерть его тоже вызовет немало легенд. Следствие не оставило сомнений, что он умер от неосторожности, собирая дома установку с приемником и звукозаписывающей аппаратурой. Короткое замыкание, больное сердце, дома никого нет... Уже передали из России, что в случайность многие не верят. Нет оснований сомневаться во французском следствии, но мы знаем, что те, кто ненавидел Галича, постараются использовать этот слух для запугивания свободных людей, которые могут верить ему или не верить, но которым невозможно позволить себя запугать - хотя бы в память об Александре Галиче. Его гроб, не открытый даже в церкви (французский закон, введенный еще Наполеоном), был опущен в землю русского кладбища в Сент-Женевьев де Буа, где покоится много славных русских имен. Его книги, его песни, память о нем пребудут с нами.

## САША ГАЛИЧ

С Сашей мы были знакомы лет сорок, а может быть, и больше. Оба мы были тогда молоды, мечтали о театре, не сомневались, что будем со сцены жечь сердца. Уже тогда Саша подружился

с гитарой, мило пел песенки, но глядя на него, такого красивого и томного, и немного завидуя (его приняли в студию Станиславского, меня нет), думал ли тогда, мог ли себе представить, что "жечь сердца" будет он не со сцены МХАТа, а совсем иначе...

Песни его поет вся страна. И петь будет еще очень и очень долго. Поют, слушают его дома, в кругу друзей, в экспедициях, геологических партиях, на шахтах, в лагерях, в тюрьме... Поют, потому что в песнях этих говорится, поется о том, чего нет в осточертевших газетах, то, о чем люди думают, говорят между собой, друг с другом, когда плохо или когда хорошо. Поют потому, что они написаны тем языком, который называется человеческим, и написаны не только рукой, но и сердцем.

Сейчас, когда трудно еще свикнуться с мыслью, что Саши нет, но голос его слышишь, пытаешься как-то разобраться в том, что произошло. А произошло то, что ушел от нас очень талантливый и очень нужный человек, которого всем нам - а нас много миллионов - будет очень и очень не хватать...

8 января 1978 г.

Виктор Некрасов

Георгий ПЕСКОВ

# МЫ И ОНИ

Отрывок из книги

«РАЗГОВОР С СОБОЙ»

Аксиоматическая убежденность в правильности исходной позиции создает предпосылки для огульного отрицания, высокомерного пренебрежения ко всему, что не Мы и не ОТ НАС. Дух хамства и неуважения в глобальном масштабе так и пышет от нашей прессы.

Это выражается в примитивных приемах дискредитации противника - не путем убеждения, доказательства, опровержения, но при помощи магической силы пренебрежительных, иронических кавычек, словечек "де", "якобы", недобросовестного цитирования, когда слова вырываются из текста и преподносятся как мысль.

Наша официальная публицистика (а другой нет) буквально корчится от бешенства, когда кто-нибудь - оттуда - осмеливается изучать, анализировать, критиковать и вообще высказывать какие-либо суждения, отличные от нашей точки зрения (единственной и безапелляционной), она готова стереть в порошок всех этих "советологов", этих "Тойнби, которые у них ходят в пророках" и "иже с ними". В лучшем - редком - случае она может снисходительно допустить некоторую прогрессивность, до которой кое-как добрался с грехом пополам автор, но все же не дорос до настоящей истины (ведущая роль рабочего класса под руководством КПСС).

Принципиальная установка на непогрешимость уводит официальную идеологию от истинной диалектики, заставляя мысль крутиться, как мышка вокруг лампы, с упорством достойным лучшего применения вокруг вопросов, которые следовало бы пересмотреть.

---

Книга Георгия Пескова "Разговор с собой (за неизмением собеседников)" распространяется самиздатом.

Капитализм на Западе развивался органически - и продолжает развиваться - в условиях противоречий: расовых, классовых, экономических, политических и прочих - и преодоления в процессе борьбы этих противоречий. Этому способствует открытость и демократичность, присущие западному обществу.

Содержание понятий СВОБОДЫ и СОБСТВЕННОСТИ там тоже претерпело - со времени создания "Капитала" - изменения: так, свобода индивидуального распоряжения собственностью ограничивается и определяется интересами монополий, и пользование собственностью выходит далеко из сферы индивидуального потребления и все больше определяется правом распоряжения ею в интересах производства.

Монополии, хотя и движимые интересами собственного развития, что часто приводит к отрицательным, идущим вразрез с общечеловеческими интересами последствиям (кризисы, схватки, войны), - все же врастают в государственный организм и становятся неотъемлемым компонентом производственной машины, который не так-то легко изъять и заменить другим. В конце концов, вопрос сводится к тому, КТО должен управлять государственным производством - коллектив хозяев в лице монополий, акционерных обществ или "демократическая" неограниченная в своей власти партия - в лице Вождя или, как в настоящее время, олигархии бюрократов?

Что же касается прибавочной стоимости, то она и там и здесь удерживается из трудового заработка и вливается в финансовое кровообращение государственного организма, но - распоряжаются ею:

ТАМ - в условиях гласности действительно демократического строя, обеспечивающей контроль, - хотя и в процессе борьбы,

ЗДЕСЬ - фактически бесконтрольно и самовластно.

В результате наш "демократизм" не только не обеспечивает максимально плодотворного использования этой прибавочной стоимости, но обуславливает -

во-первых, безрассудное растрачивание народных богатств, когда они никому не идут на пользу - гниющие овощи и фрукты, не принимаемые складами и не перерабатываемые, неиспользованные машины, ржавеющие на открытом воздухе, разлагающаяся древесина сплавного леса и т.д.

во-вторых, изрядное прилипание ее к рукам самовластных хозяев - бюрократических распорядителей, лишенных чувства бережливости, уважения к вещи, созданной не их руками; одним словом, свободных от этого чувства СОБСТВЕННОСТИ хозяина-производителя и взрастивших в себе чувства жадности, страсти к хищническому потребительству, присущему халифу на час.

(Наши партийные верхи живут, обеспеченные всем вот так - сверх головы, обстраиваются, стараясь располагаться друг около друга, чтобы не видел "народ", продукты, вещи им привозят в закрытых машинах, а некоторые знатные семьи даже не открывают окна на улицу. И всё это в условиях своей производственной и

деловой НЕОПРАВДАННОСТИ - в противовес американскому фермеру или какому-нибудь Форду.)

Официальная идеология у нас, отстаивая свое существование, с тем большим упорством, чем меньше она может опираться на научную и практическую основу, не хочет признать, что -

- рабочий класс уже перестал быть в нашем государстве особым классом, но просто стал слоем трудящихся, занятых определенным видом труда,
- никаких особых целей, отличных от целей других слоев общества, у него нет,
- никакой ведущей политической роли он не играет - впрочем, как и любой другой слой (трудящихся),
- никакими особыми моральными качествами - в целом - как класс он не обладает и не отличается.

Она не хочет также признать, что руководящей (как?) и ведущей (куда?) силой является маленькая кучка - бюрократическая верхушка - партийная элита, усевшаяся на острие чертова колеса; и маскирует это положение псевдодемократической фразеологией. Элита, скрытно удовлетворяя свою ненасытную потребительскую прожорливость, превращает заботу о простом человеке в формальную трескотню, сопровождаемую противоречивыми мероприятиями, наталкивающимися, даже при всей их доброй направленности, на ведомственную неповоротливость и - что уж совсем обескураживает - на отсутствие простого здравого смысла.

Но поскольку мы прочно утвердили в сознании непоколебимую истинность идеологических основ, мы, естественно, стремимся, чтобы и ТАМ воспринимали нас как непогрешимых носителей этой истины.

Но - теория проверяется практикой.

Нам все трудней стало поддерживать свой морально-идейный авторитет.

Поэтому эту трещину между желаемым и действительным восприятием ИЗВНЕ нашего мира приходится заделывать при помощи уже в самом деле изощренных методов, стремящихся поставить явления с ног на голову, извратить простые, ясные понятия - одним словом, дать единственно правильное толкование.

Задача трудная, а то и вовсе непосильная.

Как объяснить, каким образом самая человеческая, гуманная идеология обернулась сверхъестественной нечеловечностью?

Каково терпеть, когда борьба с БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ возглавляется партийной элитой, изо всех сил обрастающей буржуазным благополучием и оставляющей (а то и не оставляющей) простому человеку объедки: так - в духовном плане - ЦК забирает все билеты (бронировать) приезде известных гастролеров; в материальном - продажа голов и костей осетрины, белуги и прочей аристократической рыбы. "А кто съел саму рыбу? - спрашивает наивный или ехидный покупатель. - Они, - невозмутимо отвечает продавец."

Они! - ОНИ уже не МЫ!

Таким образом устанавливается как бы неписанный договор между партией и массой: партия требует от народа официального признания законности - обоснованности - своей элитарности; а

народ (массы) делает вид, что ее признает, и - так же поверхностно, формально (пример заразителен) - не увязывая идеологию с простыми человеческими принципами, нахлобучивает ее, как головной убор на необремененную голову.

А чтобы голова не была обременена, надо лишить ее воспоминаний и на месте их внедрить миф и легенду.

В недолгий период относительной свободы при Хрущеве - помимо разоблачения культа - постепенно стало выявляться, что те преимущества новой идеологии, строя, морали, которые представлялись неоспоримыми в начале революции и с точки зрения которых клеймился старый мир, оказались весьма сомнительными - не только очевидно не убеждающими, но даже вступающими в явное противоречие с первоначальными выводами. В этом отношении Хрущев действительно предстал в опасной роли - подрывателя основ!

Так, в результате знакомства с воспоминаниями современников, мемуарами, письмами, да и просто внимательного перечитывания (вчитывания) классических произведений обнаружилось, что ТЕХ современников коробили и возмущали вещи и явления, которые с точки зрения НАШЕЙ современности, собственно, не представляют собой НИЧЕГО ОСОБЕННОГО и часто НЕ ДОРАСТАЮТ до современных геркулесовых столпов одиозности.

И выходит, что нас, собственно, очень трудно чем-нибудь удивить, покоробить и потрясти - до каких бы высот идейно-классово-патриотической риторичности ни достигала официальная фразеология, нацеливающая советского человека на "истинное философское осмысливание" прошлого и настоящего.

Что царский режим был жесток в отношении простого народа? - Действительно, крепостное право, шпирутены, порка крестьян, военная служба, продажа людей - были ужасны. Но в XX веке это уже не существовало, всё это было осуждено и буржуазной общественностью.

Но все жертвы царского произвола, с учетом повешенных декабристов и террористов, погубленных узников Алексеевского ржевлина и жертв революции 1905 года, легко взлетят на чаше весов, если на другую поместить двадцать миллионов сталинских жертв плюс гибель людей в результате безразсудных и своевольных промахов в начале войны и сознательного мстительного садизма после войны.

Что чиновничество брало взятки? - Да. Но слой его не был так значителен, как в настоящее время, и люди не так обязательно - постоянно и непрерывно - были охвачены бюрократическими путями, являющимися источником потворствования носителей власти ко взяткам.

Иван Иванович и Иван Никифорович?

Чичиков и его мертвые души?

Салтыков-Щедрин с его помпадурками и помпадуршами?

Одиозность светского общества в "Горе от ума"?

И - даже - Чехов с его "Палатой № 6"?

Все это детский лепет в сравнении с современностью.

Смешно мне было читать "Враги" Горького и разделять возмущение (бывшего зрителя), когда жестокий жандармский офицер не разрешает охваченной благородной революционностью девушке пере-

говариваться с революционером, схваченным за руку с полицным, - и это при том, что люди нам близкие и известные - и ни в чем не повинные! - исчезали в неизвестности "без права переписки".

И наконец, - обращаясь к более далекому прошлому - вспомним слова Белинского, который с сожалением и возмущением констатировал, что у бедной русской общественности нет иных путей для выхода политической мысли, как ТОЛЬКО ЛИТЕРАТУРА(!).

Соответственно этому смещению исторических и моральных планов истолкователи стараются обелить современность и затемнить прошлое, прибегая к получившему особое распространение в последнее время (после Хрущева) и ставшему излюбленным методом умолчания - созданию ИСКУССТВЕННЫХ ПРОВАЛОВ в расчете и надежде на то, что такие же провалы образуются и в психике не искусственных в мышлении и подавленных сиюминутными заботами людей (когда "не до этого").

Нашей "общественной мысли" действительно приходится не сладко - можно ее только пожалеть. Вращенная в ограниченном мире догматизма с искусственно освещенными историческими макетами, в душной атмосфере диктатуры и произвола (когда, по словам Остапа Бендера, на человека давит атмосферный столб весом...), она не могла развить в себе необходимой полемической остроты мысли, подвижности, объемности: страстность у нее подменяется грубостью, стойкость оборачивается неповоротливостью; наконец, загнанная в угол очевидностью, она уже ничего не может противопоставить возмутительной, преступной ИЗОЩРЕННОСТИ западных "ревизионистов" и "советологов" - как будто критике приличествует только примитивность и прямолинейность.

И тогда охранителям духовной стерильности советского человека ничего не остается, как искусственно заткнуть уши граждан заглушением информации, цензурой, недопуском литературы оттуда, преследованием литературы здесь ("самиздата") и прочими благовидными мероприятиями, пропитанными лицемерием, трусостью и высокомерием.



# ПИСЬМО ИЗ ЛАГЕРЯ

Сегодня идет 35-й день борьбы за статус политзаключенного. Я отбыл 25 дней в карцере (12 - сутки перерыв - 13). Сегодня меня вызывали на комиссию, которая должна определить меня в лагерную тюрьму - ПКТ. 24 мая туда на 6 месяцев отправили В.Осипова. 21 апреля мы стали на статус: сорвали нашивки и не вышли на работу. Мы требовали политической амнистии, а пока ее нет - улучшения режима содержания в концлагерях. Начались угрозы. Высокие чины (полковник и подполковник) угрожали нам, в основном, новым сроком - за организацию лагерных беспорядков. Мы отвечали, что производство работает (сперва стало на статус 5 человек в этой зоне, сейчас - приблизительно 15), каждый действует сам по себе, то есть нет "группы лиц" и т.д. Тогда начались репрессии. Лишили всего, чего можно: права закупки продуктов, посылок, свидания, затем пошли карцеры. Ушаков - 5 суток, Осипов - 6, Шакиров - 7, Солдатов - 10, Хейфец 12. Перед этим обыск в зоне, забрали все бумаги без акта о конфискации: никаких бумаг, кроме копий приговоров. Карцер - это сырое помещение с обвалившейся штукатуркой, которую забелили, когда нас посадили, с деревянными нарами, на цепях. Днем нары запираются к стене. Крохотный столик с 2 или 4 пеньками диаметром 15-18 см, сидеть на них тяжело. Лежим на деревянном полу. Когда-то один из нынешних статусников, Будулак, голодал 18 суток, но добился пола из деревянных досок поверх цементного. Постелей не выдают - кладем под голову

тапочки, обернутые носовым платком. Кормят по пониженной норме, то есть совершенно обезжиренным и незаправленным варевом, и то через день. На другой день - хлеб и вода. Соль без ограничения. Запрещают читать. Из камер выводят лишь утром на полчаса - умыться и в уборную. Для дневных и ночных нужд - параша. Хлорной извести не хватает, в камере вонь. Из-за сырости в камере ночью холодно, даже в теплое время года. Полковник Новиков из управления: - На что жалуетесь? - Холодно. - Протопим. - На следующий день в наручниках сняли теплое белье и дали трусы и майку Ушакову. Мол, переход на летнюю форму одежды. Раздели Осипова. В ответ Солдатов объявил голодовку, снял и майку. Слегка уступили - дали белье х/б. Очень холодно. Ночи здесь иногда по-осеннему холодные, и тогда раздетому и голодному штрафнику очень тяжело. Если повезет найти газету в туалете - оборачиваются ею под бельем, всё теплее. На голод и холод отвечаем предбелградскими голодовками по пустым дням. Хейфец провел 10, Солдатов и Ушаков по 12 голодовок. У Чорновила их более 20, но он и первый статусник. Когда мы пришли в ШИЗО, он уже был в ПКТ (помещение камерного типа). Камеры через коридор. В голодовках мы протестовали против ухудшения питания - много ниже регламентированных минимальных норм. Против этапирования с уголовниками, когда политические становятся жертвами террора бандитов и убийц. Протестовали против национальной дискриминации - насильственной депортации с родины, отсутствия условий национальной жизни. Против невозможности творческого труда; насильственных политзанятий; полубесплатного труда без отпусков; против запрещения заводить семью в лагере; против

ограничения контактов с семьями (1 свидание в год), то есть фактического разрушения семей и способствования моральному разложению личности; против тайного законодательства, когда нас наказывают за нарушение тайных и служебных инструкций и приказов, неизвестных з/к, которые неизмеримо утяжеляют действующее законодательство. В ответ администрация решила конфисковать все заявления, в том числе закрытые прокурору, под предлогом употребления нами недопустимых выражений, таких как: политзаключенный, статус, голодовка. С 24 апреля, когда конфисковали наши заявления с соболезнованием армянам по поводу геноцида в подтурецкой Армении в дореволюционные годы, добавилось слово геноцид. Запрещено упоминание имени другого заключенного. Несмотря на все эти тяготы, все веселы. Администрации это не нравится - нечем наказывать. - На вас и ШИЗО не действует. - Солдатов отвечает - мы сильнее ШИЗО. Душой изолятора является Чорновил. Переговоры запрещены, но он ежедневно читает нам последние известия. Начальник лагеря ПИКУЛИН назвал Чорновила нашим генералом. Славко плохо выглядит - истощен голодом. Подекадно ведет счет предбелградской активности; на 20 мая в ШИЗО и ПКТ отсижено за 1977 год 570 суток (340 ШИЗО и 230 ПКТ), проведено 135 предбелградских голодовок, конфисковано 80 заявлений, всего в среднем каждый день сидело 4 человека. Последнее яркое событие - спасение армянского патриота Маркосяна, получившего за первые 30 дней статуса 25 суток карцера. У него язва желудка, не может оправляться. Дважды его, полумертвого, почти уносили из карцера в санчасть на клизму. Когда его привели в 4-й раз, Славко предложил, и все поддержали: бессроч-

ную голодовку, пока не помогут Маркосяну. До этого 3 дня не приходил врач. Легли в голодовку, пока не вытащат Маркосяна из карцера. Власти цинично торгуются: уговорите его сойти со статуса, иначе на вашей совести будет его смерть. Написали протест с массовой голодовкой против преступления против человечности в день дарования новой конституции. Заставили отступить. Маркосяна перевели в санчасть. Осипова тут же отправили в ПКТ на 6 месяцев, Чорновила - в ШИЗО на 15 суток. Объявили, что будут изымать все заявления, подобные этим. Жду ПКТ. Мы бодры, нас поддерживает сочувствие зоны и ваша поддержка. Гебисты почти не появляются, но сперва очень сердились на утечку информации Андрею Дмитриевичу Сахарову. 26 мая Хейфецу дали 15 суток ШИЗО, Равиньшу - 8 суток. 3-го июня Маркосяна и Равиньша отправили на больницу. Солдатова 2-го июня отправили в ШИЗО. На 6-е июня в ШИЗО и ПКТ отсижено приблизительно 760 суток: 430 ШИЗО и 340 ПКТ.

Михаил Хейфец

От редакции. Ленинградский писатель Михаил Хейфец кончает 4-й год лагеря строгого режима. Был арестован 22 апреля 1974 года (так ленинградское ГБ празднует день рождения своего вождя). Осужден за чтение книг и написание статьи-предисловия к самиздатскому собранию стихов Иосифа Бродского. После лагеря останется еще 2 года ссылки. Неоднократно в лагере подвергался угрозам нового срока. Письмо не датировано, попало в Париж в декабре 1977 года.

Александр ВВЕДЕНСКИЙ (1904-1941)

## НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗГОВОРОВ

ИЛИ  
НАЧИСТО ПЕРЕДЕЛАННЫЙ ТЕМНИК

### 1. РАЗГОВОР О СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ

В карете ехали трое. Они обменивались мыслями.

ПЕРВЫЙ. Я знаю сумасшедший дом. Я видел сумасшедший дом.

ВТОРОЙ. Что ты говоришь? я ничего не знаю. Как он выглядит.

ТРЕТИЙ. Выглядит ли он? Кто видел сумасшедший дом.

ПЕРВЫЙ. Что в нем находится? Кто в нем живет.

ВТОРОЙ. Птицы в нем не живут. Часы в нем ходят.

ТРЕТИЙ. Я знаю сумасшедший дом, там живут сумасшедшие.

ПЕРВЫЙ. Меня это радует. Меня это очень радует. Здравствуй, сумасшедший дом.

ХОЗЯИН СУМАСШЕДШЕГО ДОМА (смотрит в свое дряхлое окошко, как в зеркало). Здравствуйте, дорогие. Ложитесь.

Карета останавливается у ворот. Из-за забора смотрят пустяки. Проходит вечер. Никаких изменений не случается. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли.

ПЕРВЫЙ. Вот он какой, сумасшедший дом. Здравствуй, сумасшедший дом.

ВТОРОЙ. Я так и знал, что он именно такой.

ТРЕТИЙ. Я этого не знал. Такой ли он именно.

ПЕРВЫЙ. Пойдемте ходить. Всюду все ходят.

---

Публикация Михаила Мейлаха.

ВТОРОЙ. Тут нет птиц. Есть ли тут птицы.

ТРЕТИЙ. Нас осталось немного, и нам осталось недолго.

ПЕРВЫЙ. Пишите чисто. Пишите скучно. Пишите тучно. Пишите звучно.

ВТОРОЙ. Хорошо, мы так и будем делать.

Отворяется дверь. Выходит доктор с помощниками. Все зябнут. Уважай обстоятельства места. Уважай то, что случается. Но ничего не происходит. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли.

ПЕРВЫЙ (говорит русскими стихами):

Входите в сумасшедший дом  
Мои друзья, мои князья.  
Он радостно ждет нас.  
Мы радостно ждем нас.  
Фонарь мы зажигаем здесь.  
Фонарь как царь висит.  
Лисицы бегают у нас,  
Они пронзительно пищат.  
Все это временно у нас,  
Цветы вокруг трещат.

ВТОРОЙ. Я выслушал эти стихи. Они давно кончились.

ТРЕТИЙ. Нас осталось немного, и нам осталось недолго.

ХОЗЯИН СУМАСШЕДШЕГО ДОМА (открывая свое дряхлое окошко, как форточку). Заходите, дорогие, ложитесь.

В карете ехали трое. Они обменивались мыслями.

## 2. РАЗГОВОР ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЭЗИИ

Двенадцать человек сидело в комнате. Двадцать человек сидело в комнате. Сорок человек сидело в комнате. Шел в зале концерт. Певец пел:

Неужели о поэты  
Вами песни все пропеты.  
И в гробах лежат певцы  
Как спокойные скупцы.

Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Дерево стоит без звука,  
Без почета ночь течет.  
Солнце тихо как наука  
Рощи скучные печет.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.

Тучи в небе ходят пышно,  
Кони бегают умно,  
А стихов нигде не слышно,  
Все бесшумно все темно.

Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Верно умерли поэты,  
Музыканты и певцы,  
И тела их верно где-то  
Спят спокойно как скупцы.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.

О взгляните на природу

Тут все подошли к окнам и стали смотреть на ничтожный вид.

На беззвучные леса.

Все взглянули на леса, которые не издавали ни одного звука

Опустытели народу  
Нынче птичьи голоса.

Везде и всюду стоит народ и плюется, услышав птичье пение.  
Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Осень. Лист лежит пунцов.  
Меркнет кладбище певцов.  
Тишина. Ночная мгла  
На холмы уже легла.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.

Встали спящие поэты  
И сказали, да ты прав.  
Мы в гробах лежим отпеты,  
Под покровом желтых трав.

Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Музыка в земле играет,  
Червяки стихи поют.  
Реки рифмы повторяют,  
Звери звуки песен пьют.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец умер. Что он этим доказал.

### 3. РАЗГОВОР О ВОСПОМИНАНИИ СОБЫТИЙ

**ПЕРВЫЙ.** Припомним начало нашего спора. Я сказал, что я вчера был у тебя, а ты сказал, что я вчера не был у тебя. В доказательство этого я сказал, что я говорил вчера с тобой, а ты в доказательство этого сказал, что я не говорил вчера с тобой.

Они оба важно поглаживали каждый свою кошку. На дворе уже стоял вечер. На окне горела свеча. Играла музыка.

**ПЕРВЫЙ.** Тогда я сказал: Да как же, ведь ты сидел тут на месте А, и я стоял тут на месте Б. Тогда ты сказал: Нет, как же, ты не сидел тут на месте А, и я не стоял тут на месте Б. Чтобы увеличить силу своего доказательства, чтобы сделать его очень, очень мощным, я почувствовал сразу грусть и веселье и плач и сказал: нас же было здесь двое, вчера в одно время, на этих двух близких точках, на точке А и на точке Б, - пойми же.

Они оба сидели запертые в комнате. Ехали сани.

**ПЕРВЫЙ.** Но ты тоже охватил себя чувствами гнева, свирепости и любви к истине и сказал мне в ответ: Ты был тобою, а я был собою. Ты не видел меня, я не видел тебя. О гнилых этих точках А и Б я даже говорить не хочу.

Два человека сидели в комнате. Они разговаривали.

**ПЕРВЫЙ.** Тогда я сказал: (Я помню) по тому шкапу ходил, посвистывая, конюх, и (я помню) на том комоде шумел прекрасными вершинами могучий лес цветов, и (я помню) под стулом журчащий фонтан, и под кроватью широкий дворец. Вот что я тебе сказал. Тогда ты улыбаясь ответил: Я помню конюха, и могучий лес цветов, и журчащий фонтан, и широкий дворец, но где они, их нигде не видать. Во всем остальном мы почти были уверены. Но все было не так.

Два человека сидели в комнате. Они вспоминали. Они разговаривали.

**ВТОРОЙ.** Потом была середина нашего спора. Ты сказал: Но ты можешь себе представить, что я был у тебя вчера. А я сказал: Я не знаю. Может быть, и могу, но ты не был. Тогда ты сказал, временно совершенно изменив свое лицо: как же? как же? я это представляю. Я не настаиваю уже, что я был, но я представляю это. Вот вижу ясно. Я вхожу в твою комнату и вижу тебя - ты сидишь то тут, то там, и вокруг висят свидетели этого дела, картины и статуи и музыка.



Два человека сидели запертые в комнате. На столе горела свеча.

ВТОРОЙ. Ты очень, очень убедительно рассказал все это, отвечал я, но я на время забыл, что ты есть, и все молчат мои свидетели. Может быть, поэтому я ничего не представляю. Я сомневаюсь даже в существовании этих свидетелей. Тогда ты сказал, что ты начинаешь испытывать смерть своих чувств, но все-таки, все-таки (и уже совсем слабо), все-таки тебе кажется, что ты был у меня. И я тоже пришел и сказал, что все-таки мне кажется, что как будто бы ты и не был. Но все было не так.

Три человека сидели запертые в комнате. На дворе стоял вечер. Играла музыка. Свеча горела.

ТРЕТИЙ. Припомним конец вашего спора. Вы оба ничего не говорили. Все было так. Истина, как нумерация, прогуливалась вместе с вами. Что же было верного? Спор окончился. Я невероятно удивился.

Они оба важно поглаживали каждый свою кошку. На дворе стоял вечер. На окне горела свеча. Играла музыка. Дверь была плотно закрыта.

#### 4. РАЗГОВОР О КАРТАХ

А ну сыграем в карты: закричал ПЕРВЫЙ.

Было раннее утро. Было самое раннее утро. Было четыре часа ночи. Не все тут были из тех, кто бы мог быть, те, кого не было, лежали, поглощенные тяжелыми болезнями у себя на кроватях, и подавленные семьи окружали их, рыдая и прижимая к глазам. Они были люди. Они были смертны. Что тут поделаешь. Если оглядеться вокруг, то и с нами будет то же самое.

А ну сыграем в карты, закричал все-таки в этот вечер - ВТОРОЙ.

Я в карты играю с удовольствием. Сказал Сандонецкий, или ТРЕТИЙ.

Они мне веселят душу. Сказал ПЕРВЫЙ.

А где же наши тот что был женщиной и тот что был девушкой? спросил ВТОРОЙ.

О не спрашивайте, они умирают. Сказал ТРЕТИЙ или САНДОНЕЦКИЙ. Давайте сыграем в карты.

Карты хорошая вещь. Сказал ПЕРВЫЙ.

Я очень люблю играть в карты. Сказал ВТОРОЙ.

Они меня волнуют. Я становлюсь сам не свой. Сказал САНДОНЕЦКИЙ. Он же ТРЕТИЙ.

Да уж когда умрешь, тогда в карты не поиграешь. Сказал ПЕРВЫЙ. Поэтому давайте сейчас сыграем в карты.

Зачем такие мрачные мысли. Сказал ВТОРОЙ. Я люблю играть в карты.

Я тоже жизнерадостный. Сказал ТРЕТИЙ. И я люблю.

А я до чего люблю. Сказал ПЕРВЫЙ. Я готов все время играть.

Можно играть на столе. Можно и на полу. Сказал ВТОРОЙ. Вот я и предлагаю - давайте сыграем в карты.

Я готов играть хоть на потолке. Сказал САНДОНЕЦКИЙ.

Я готов играть хоть на стакане. Сказал ПЕРВЫЙ.

Я хоть под кроватью. Сказал ВТОРОЙ.

Ну ходите вы. Сказал ТРЕТИЙ. Начинайте вы. Делайте ваш ход. Покажите ваши карты. Давайте играть в карты.

Я могу начать. Сказал ПЕРВЫЙ. Я играл.

Ну что ж. Сказал ВТОРОЙ. Я сейчас ни о чем не думаю. Я игрок.

Скажу не хвастаясь, сказал САНДОНЕЦКИЙ. Кого мне любить. Я игрок.

Ну, сказал ПЕРВЫЙ, игроки собрались. Давайте играть в карты.

Насколько я понимаю, сказал ВТОРОЙ, мне, как и всем остальным, предлагают играть в карты. Отвечаю - я согласен.

Кажется, и мне предлагают. Сказал ТРЕТИЙ. Отвечаю - я согласен.

По-моему, это предложение относится и ко мне, сказал ПЕРВЫЙ. Отвечаю - я согласен.

Вижу я, сказал ВТОРОЙ, что мы все тут словно сумасшедшие. Давайте сыграем в карты. Что так сидеть.

Да, сказал САНДОНЕЦКИЙ, что до меня - сумасшедший. Без карт я никуда.

Да, сказал ПЕРВЫЙ, если угодно - я тоже. Где карты - там и я.

Я от карт совсем с ума схожу, сказал ВТОРОЙ. Играть так играть.

Вот и обвели ночь вокруг пальца, сказал ТРЕТИЙ. Вот она и кончилась. Пошли по домам.

Да, сказал ПЕРВЫЙ. Наука это доказала.

Конечно. Сказал ВТОРОЙ. Наука доказала.

Нет сомнений. Сказал ТРЕТИЙ. Наука доказала.

Они все рассмеялись и пошли по своим близким домам.

## 5. РАЗГОВОР О БЕГСТВЕ В КОМНАТЕ

Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они двигались.

ПЕРВЫЙ. Комната никуда не убегает, а я бегу.

ВТОРОЙ. Вокруг статуй, вокруг статуй, вокруг статуй.

ТРЕТИЙ. Тут статуй нет. Взгляните, никаких статуй нет.

ПЕРВЫЙ. Взгляни - тут нет статуй.

ВТОРОЙ. Наше утешение, - что у нас есть души. Смотрите, я бегаю  
ТРЕТИЙ. И стул беглец, и стол беглец, и стена беглянка.  
ПЕРВЫЙ. Мне кажется, ты ошибаешься. По-моему, мы одни убегаем.

Три человека сидели в саду. Они разговаривали. Над ними в воздухе возвышались птицы. Три человека сидели в зеленом саду.

ВТОРОЙ. Хорошо сидеть в саду,  
Улыбаясь на звезду,  
И подсчитывать в уме,  
Много ль нас умрет к зиме.

И внимая стуку птиц,  
Звуку человеческих лиц  
И звериному рычанью,  
Встать побегать на прощанье.

Три человека стояли на горной вершине. Они говорили стихами. Для усиленных движений не было места и времени.

ТРЕТИЙ. Дивно стоя на горе  
Думать о земной коре.  
Пусть она черна, шершава  
Но страшна ее держава.  
Воздух тут. Он стар и сед.  
Здравствуй воздух мой сосед.  
Я обнимаю высоту.  
Я вижу Бога за версту.

Трое стояли на берегу моря. Они разговаривали. Волны слушали их в отдалении.

ПЕРВЫЙ. У моря я стоял давно  
И думал о его пучине.  
Я думал почему оно  
Звучит как музыкант Пуччини.  
И понял: море это сад.  
Он музыкальными волнами  
Зовет меня и вас назад  
Побегать в комнате со снами.

Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они двигались. Они осматривались.

ВТОРОЙ. Все тут как прежде. Ничто никуда не убежало.

ТРЕТИЙ. Одни мы убегаем. Я выну сейчас оружие. Я буду над собой действовать.

ПЕРВЫЙ. Куда как смешно. Стреляться или топиться или вешаться ты будешь?

ВТОРОЙ. О не смейся! Я бегаю, чтобы поскорей кончиться.

ТРЕТИЙ. Какой чудак. Он бегаёт вокруг статуй.

ПЕРВЫЙ. Если статуями называть все предметы, то и то.

ВТОРОЙ. Я назвал бы статуями звезды и неподвижные облака. Что до меня, я назвал бы.

ТРЕТИЙ. Я убегаю к Богу - я беженец.

ВТОРОЙ. Известно мне, что я с собой покончил.

Три человека вышли из комнаты и поднялись на крышу. Казалось бы, зачем?

## 6. РАЗГОВОР О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОДОЛЖЕНИИ

Три человека сидели на крыше, сложа руки, в полном покое. Над ними летали воробьи.

ПЕРВЫЙ. Вот видишь ли ты, я беру веревку. Она крепка. Она уже намылена.

ВТОРОЙ. Что тут говорить. Я вынимаю пистолет. Он уже намылен.

ТРЕТИЙ. А вот и река. Вот прорубь. Она уже намылена.

ПЕРВЫЙ. Все видят, я готовлюсь сделать то, что я уже задумал.

ВТОРОЙ. Прощайте, мои дети, мои жены, мои матери, мои отцы, мои моря, мой воздух.

ТРЕТИЙ. Жестокая вода, что же шепнуть мне тебе на ухо. Думаю - только одно: мы с тобой скоро встретимся.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

ПЕРВЫЙ. Я подхожу к стене и выбираю место. Сюда, сюда вобьем мы крюк.

ВТОРОЙ. Лишь дуло на меня взглянуло,  
Как тут же смертью вдруг подуло.

ТРЕТИЙ. Ты меня задалась, замороженная река. Еще немного, и я приближусь.

ПЕРВЫЙ. Воздух, дай мне на прощанье пожать твою руку.

ВТОРОЙ. Пройдет еще немного времени, и я превращусь в холодильник.

ТРЕТИЙ. Что до меня - я превращусь в подводную лодку.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

ПЕРВЫЙ. Я стою на табурете одиноко, как свечка.

ВТОРОЙ. Я сижу на стуле. Пистолет в сумасшедшей руке.

ТРЕТИЙ. Деревья, те, что в снегу, и деревья, те, что стоят укрыленные листьями, стоят в отдалении от этой синей проруби, я стою в шубе и в шапке, как стоял Пушкин, и я, стоящий перед этой прорубью, перед этой водой, - я человек кончающий.

ПЕРВЫЙ. Мне все известно. Я накидываю веревку себе же на шею.

ВТОРОЙ. Да ясно все. Я вставляю дуло пистолета в рот. Я не стучу зубами.

ТРЕТИЙ. Я отступаю на несколько шагов. Я делаю разбег. Я бегу.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

ПЕРВЫЙ. Я прыгаю с табурета. Вертка на шею.

ВТОРОЙ. Я нажимаю курок. Пуля в ствол.

ТРЕТИЙ. Я прыгнул в воду. Вода во мне.

ПЕРВЫЙ. Петля затягивается. Я задыхаюсь.

ВТОРОЙ. Пуля попала в меня. Я все потерял.

ТРЕТИЙ. Вода переполнила меня. Я захлебываюсь.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

ПЕРВЫЙ. Умер.

ВТОРОЙ. Умер.

ТРЕТИЙ. Умер.

ПЕРВЫЙ. Умер.

ВТОРОЙ. Умер.

ТРЕТИЙ. Умер.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

## 7. РАЗГОВОР О РАЗЛИЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Поясняющая мысль. Казалось бы, что тут продолжать, когда все умерли, что тут продолжать. Это каждому ясно. Но не забудь, тут не три человека действуют. Не они едут в карете, не они спрятаны, не они сидят на крыше. Быть может, три льва, три тапира, три аиста, три буквы, три числа. Что нам их смерть, для чего им их смерть.

Но все-таки они трое ехали на лодке, ежеминутно, ежесекундно обмениваясь веслами, с такой быстротой, с такой широтой, что их дивных рук не было видно.

ПЕРВЫЙ. Он дунул.

ВТОРОЙ. Он плюнул.

ТРЕТИЙ. Все погасло.

ПЕРВЫЙ. Зажги.

ВТОРОЙ. Свечу.

ТРЕТИЙ. Снова.

ПЕРВЫЙ. Не получается.

ВТОРОЙ. Гаснет.

ТРЕТИЙ. Свеча снова.

Они начали драться и били молотками друг друга по голове.

ПЕРВЫЙ. Эх, спичек.

ВТОРОЙ. Достать бы.

ТРЕТИЙ. Они помогли бы.

ПЕРВЫЙ. Едва ли.  
ВТОРОЙ. Тут слишком.  
ТРЕТИЙ. Уж все погасло.

Они пьют кислоту, отдыхая на веслах. Но действительно вокруг все непрозрачно.

ПЕРВЫЙ. Зажги.  
ВТОРОЙ. Зажигай, зажигай же.  
ТРЕТИЙ. Совсем как в Париже.  
ПЕРВЫЙ. Тут не Китай же.  
ВТОРОЙ. Неужто мы едем.  
ТРЕТИЙ. В далекую лету.  
ПЕРВЫЙ. Без золота без меди.  
ВТОРОЙ. Доедем мы к лету.  
ТРЕТИЙ. Стриги.  
ПЕРВЫЙ. Беги.  
ВТОРОЙ. Ни зги.  
ТРЕТИЙ. Если мертвый, то  
ПЕРВЫЙ. Не к [...]  
ВТОРОЙ. Если стертый, то  
ТРЕТИЙ. Не ищи.

Так ехали они на лодке, обмениваясь мыслями, и весла, как выстрелы, мелькали в их руках.

### §. РАЗГОВОР КУПЦОВ С БАНЩИКОМ

Два купца блуждали по бассейну, в котором не было воды. Но банщик сидел под потолком.

ДВА КУПЦА (опустив головы, словно быки). В бассейне нет воды. Я не в состоянии купаться.

БАНЩИК. Однообразен мой обычай:  
Сижу как сыч под потолком,  
И дым предбанный,  
Воздух бычий,  
Стоит над каждым котелком.  
Я дым туманный  
Тьмы добычей  
Должно быть стану целиком.  
Мерцают печи,  
Вянут свечи,  
Пылает беспощадный пар.  
Средь мокрых нар  
Желтеют плечи,  
И новой и суровой сечи  
Уже готовится навар.  
Тут ищут веник.  
[...] денег,

Здесь жадный сделался ловец.  
Средь мрака рыщут  
Воют свищут  
Отец и всадник и пловец.  
И дым колышется как нищий  
В безбожном сумрачном жилище,  
Где от лица всех подлецов  
Слетает облак мертвецов.

ДВА КУПЦА (подняв головы, словно онемели). Пойдем в женское отделение. Я тут не в состоянии купаться.

БАНЩИК (сидит под потолком, словно банщица).

Богини  
Входят в отделенье,  
И небо стынет  
В отдаленьи.  
Как крылья сбрасывают шубки,  
Как быстро обнажают юбки,  
И превращаясь в гольшей  
На шеях держат малышей.  
Тут мыло пляшет как Людмила  
Воркует губка как голубка,  
И яркий снег ее очей  
И ручеек ее речей  
И очертание ночей  
И то пылание печей  
Страшней желанья свечей.  
Тут я сижу и ненавижу  
Ту многочисленную жижу,  
Что брызжет из открытых кранов,  
Стекает по стремнинам тел,  
Где животы имеют вид тиранов.  
Я банщик, но и я вспотел.  
Мы банщицы унылы нынче.  
Нам свет не мил. И мир не свеж.  
Смотрю удачно крюк привинчен.  
Оружье есть. Петлю отрежь.  
Пускай купаются красавицы  
Мне все равно они не нравятся.

ДВА КУПЦА (смотрят в баню, прямо как в волны). Он, должно быть, бесполой, этот банщик.

Входит ЕЛИЗАВЕТА. Она раздевается с целью начать мыться.  
Два купца смотрят на нее, как тени.

ДВА КУПЦА. Гляди. Гляди. Она крылата.

ДВА КУПЦА. Ну да, у нее тысячи крылышек.

Елизавета, не замечая купцов, вымылась, оделась и вновь ушла из бани. Входит Ольга. Она раздевается, верно, хочет купаться. Два купца смотрят на нее, как в зеркало.

ДВА КУПЦА. Гляди, гляди, как я изменился.  
ДВА КУПЦА. Да, да. Я совершенно не узнаваем.

Ольга замечает купцов и прикрывает свою наготу пальцами.

ОЛЬГА. Не стыдно ль вам, купцы, что вы на меня смотрите.  
ДВА КУПЦА. Мы хотим купаться. А в мужском отделении нет воды.  
ОЛЬГА. О чем же вы сейчас думаете.  
ДВА КУПЦА. Мы думали, что ты зеркало. Мы ошиблись. Мы просим прощенья.  
ОЛЬГА. Я женщина, купцы. Я застенчива. Не могу я стоять перед вами голой.  
ДВА КУПЦА. Как странно ты устроена. Ты почти не похожа на нас. И грудь у тебя не та, и между ногами существенная разница.  
ОЛЬГА. Вы очень странно говорите, купцы, или вы не видели наших красавиц. Я очень красива, купцы.  
ДВА КУПЦА. Ты купаешься, Ольга.  
ОЛЬГА. Я купаюсь.  
ДВА КУПЦА. Ну купайся, купайся.

Ольга окончила купаться. Оделась и вновь ушла из бани. Входит Зоя. Она раздевается, значит, хочет мыться. Два купца плавают и бродят по бассейну.

ЗОЯ. Купцы, вы мужчины?  
ДВА КУПЦА. Мы мужчины. Мы купаемся.  
ЗОЯ. Купцы, где мы находимся. Во что мы играем?  
ДВА КУПЦА. Мы находимся в бане. Мы моемся.  
ЗОЯ. Купцы, я буду плавать и мыться. Я буду играть на флейте.  
ДВА КУПЦА. Плавай. Мойся. Играй.  
ЗОЯ. Может быть, это ад.

Зоя кончила купаться, плавать, играть. Оделась и вновь ушла из бани. Банщик, он же банщица, спускается из-под потолка.

БАНЩИК. Одурачили мы меня, купцы.  
ДВА КУПЦА. Чем?  
БАНЩИК. Да тем, что пришли в колпаках.  
ДВА КУПЦА. Ну что ж из этого. Мы же это не нарочно сделали.  
БАНЩИК. Оказывается, вы хищники.  
ДВА КУПЦА. Какие?  
БАНЩИК. Львы или тапиры или аисты. А вдруг да и коршуны.  
ДВА КУПЦА. Ты, банщик, догадлив.  
БАНЩИК. Я догадлив.  
ДВА КУПЦА. Ты, банщик, догадлив.  
БАНЩИК. Я догадлив.



9. ПЕРЕДПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР ПОД НАЗВАНИЕМ  
ОДИН ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА

Суровая обстановка. Военная обстановка. Боевая обстановка.  
Почти атака или бой.

ПЕРВЫЙ. Я один человек и земля.

ВТОРОЙ. Я один человек и скала.

ТРЕТИЙ. Я один человек и война. И вот что я еще скажу. Я сочинил стихи о тысяча девятьсот четырнадцатом годе.

ПЕРВЫЙ. Без всяких предисловий читаю.

ВТОРОЙ. Немцы грабят русскую землю,

Я лежу

И грабежу

Внемлю.

Немцам позор, Канту стыд.

За нас

Каждый гренадер отомстит.

А великий князь К.Р.

Богу льстит.

Наблюдая

Деятельность немцев

Распухал

Как звезда я.

Под взором адвокатов и земцев

Без опахал

Упал

Из гнезда я.

ТРЕТИЙ. Сделай остановку. Надо об этом подумать.

ПЕРВЫЙ. Присядем на камень. Послушаем выстрелы.

ВТОРОЙ. Повсюду, повсюду стихи осыпаются, как деревья.

ТРЕТИЙ. Я продолжаю.

ПЕРВЫЙ. Что же такое,

Нет что случилось,

Понять я не в силах,

Царица молилась

На запах левкоя,

На венки,

На кресты

На могилах,

Срывая с себя листья

Бесчисленных русских хилых.

ВТОРОЙ. Неужели мы добрались до братского кладбища.

ТРЕТИЙ. И тут лежат их останки.

ПЕРВЫЙ. Звучат выстрелы. Шумят пушки.

ВТОРОЙ. Я продолжаю.

ТРЕТИЙ. Сражаясь в сраженьях

Ужасных,

Досель не забытых,

Изображенья  
Несчастных  
Я видел трупов убитых.  
Досель  
Они ели кисель.  
Отсель  
Им бомбежка постель.  
Но шашкой  
Но пташкой  
Бряцая,  
Кровавой рубашкой  
Мерцающая,  
Но пуча  
Убитые очи,  
Как туча  
Как лошади бегали ночи.

ПЕРВЫЙ. Описание точное.

ВТОРОЙ. Выслушайте пение или речь выстрелов.

ТРЕТИЙ. Ты внес полную ясность.

ПЕРВЫЙ. Я продолжаю.

ВТОРОЙ. Ты хороша прекрасная война,

И мне мила щека вина,

Глаза вина и губы

И водки белые зубы.

Три года был грабеж,

Крики, пальба, бомбеж.

Штыки, цветки, стрельба,

Бомбеж, грабеж, гроба.

ТРЕТИЙ. Да, это правда, тогда была война.

ПЕРВЫЙ. В том году гусары были очень красиво одеты.

ВТОРОЙ. Нет, уланы лучше.

ТРЕТИЙ. Гренадеры были красиво одеты.

ПЕРВЫЙ. Нет, драгуны лучше.

ВТОРОЙ. От того года не осталось и косточек.

ТРЕТИЙ. Просыпаются выстрелы. Они зевают.

ПЕРВЫЙ (выглядывая в окно, имеющее вид буквы А). Нигде я не вижу надписи, связанной с каким бы то ни было понятием.

ВТОРОЙ. Что ж тут удивительного. Мы же не учительницы.

ТРЕТИЙ. Идут купцы. Не спросить ли их о чем-нибудь.

ПЕРВЫЙ. Спроси. Спроси.

ВТОРОЙ. Откуда вы, два купца.

ТРЕТИЙ. Я ошибся. Купцы не идут. Их не видно.

ПЕРВЫЙ. Продолжай.

ВТОРОЙ. Почему нам приходит конец, когда нам этого не хочется.

Обстановка была суровой. Была военной. Она была похожей на сражение.

## 10. ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

- ПЕРВЫЙ. Я из дому вышел и далеко пошел.  
ВТОРОЙ. Ясно, что я пошел по дороге.  
ТРЕТИЙ. Дорога, дорога, она была обсажена.  
ПЕРВЫЙ. Она была обсажена дубовыми деревьями.  
ВТОРОЙ. Деревья, те шумели листьями.  
ТРЕТИЙ. Я сел под листьями и задумался.  
ПЕРВЫЙ. Задумался о том.  
ВТОРОЙ. О своем условно прочном существовании.  
ТРЕТИЙ. Ничего я не мог понять.  
ПЕРВЫЙ. Тут я встал и опять далеко пошел.  
ВТОРОЙ. Ясно, что я пошел по тропинке.  
ТРЕТИЙ. Тропинка, тропинка, она была обсажена.  
ПЕРВЫЙ. Она была обсажена цветами мучителями.  
ВТОРОЙ. Цветы, те разговаривали на своем цветочном языке.  
ТРЕТИЙ. Я сел возле них и задумался.  
ПЕРВЫЙ. Задумался о том.  
ВТОРОЙ. Об изображениях смерти, о ее чудачествах.  
ТРЕТИЙ. Ничего я не мог понять.  
ПЕРВЫЙ. Тут я встал и опять далеко пошел.  
ВТОРОЙ. Ясно, что я пошел по воздуху.  
ТРЕТИЙ. Воздух, воздух, он был окружен.  
ПЕРВЫЙ. Он был окружен облаками и предметами и птицами.  
ВТОРОЙ. Птицы, те занимались музыкой, облака порхали, предметы подобно слонам стояли на месте.  
ТРЕТИЙ. Я сел поблизости и задумался.  
ПЕРВЫЙ. Задумался о том.  
ВТОРОЙ. О чувстве жизни во мне обитающем.  
ТРЕТИЙ. Ничего я не мог понять.  
ПЕРВЫЙ. Тут я встал и опять далеко пошел.  
ВТОРОЙ. Ясно, что я пошел мысленно.  
ТРЕТИЙ. Мысли, мысли, они были окружены.  
ПЕРВЫЙ. Они были окружены освещением и звуками.  
ВТОРОЙ. Звуки, те слышались, освещение пылало.  
ТРЕТИЙ. Я сел под небом и задумался.  
ПЕРВЫЙ. Задумался о том.  
ВТОРОЙ. О карете, о банщике, о стихах и о действиях.  
ТРЕТИЙ. Ничего я не мог понять.  
ПЕРВЫЙ. Тут я встал и опять далеко пошел.

# ИЗ АВСТРИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Ханс Карл АРТМАНН  
(р. 1921)

## ВОСЕМЬ ПУНКТОВ О ПОЭТИЧЕСКОМ АКТЕ

Существует идея, которую трудно выразить словами и которая сводится к тому, что поэтом может быть человек, не написавший или не высказавший ни единой строчки.

Условием к этому, однако, служит более или менее осознанное желание жить и действовать в сфере поэзии.

Невольный жест сам по себе может сделаться проявлением прекрасного и, известным образом выраженный, возвыситься до уровня прекрасного стихотворения. Прекрасное здесь - понятие, которое располагается в пределах очень широкого пространства.

### 1

Поэтический акт есть свершение, которое отвергает любую передачу "из вторых рук", любое посредничество при помощи описаний, музыки или иных свидетельств.

### 2

Поэтический акт есть свершение поэзии ради самой поэзии. Этот акт человеческой воли есть чистая поэзия, субстанция поэзии, существующая сама по себе и свободная от амбиций признания, непризнания, хвалы и порицания.

### 3

Поэтический акт может, вероятно, лишь посредством случая проникнуть в сферу общественной жизни. Это, однако, чаще всего - единственный случай из тысячи и происходит отнюдь не по причи-

не красоты или чистой поэзии, ибо она есть лишь движение сердца и душевной простоты.

4

Поэтический акт лежит вне времени и есть все что угодно, но не поэтическая ситуация без участия поэта, то есть ситуация, не созданная самим поэтом. В поэтической ситуации, возникшей без участия поэта, может оказаться любой болван, сам того не осознавая.

5

Поэтический акт - человеческая поза в ее благороднейшей форме, свободная от тщеславия и полная живого смирения.

6

К высокоцитимым мастерам поэтического акта мы причисляем прежде всего господина нашего, философически человеческого Дон-Кихота.

7

Поэтический акт не имеет никакой материальной ценности и, таким образом, не таит в себе бацилл проституции ни в малейшей степени. Его чистое завершение благородно.

8

Завершенный поэтический акт, отпечатанный в нашем воспоминании, принадлежит к числу тех немногих ценностей, которые мы действительно можем всегда иметь при себе и которые могут неразлучно сопровождать нас.

1953

## ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ

"ПОИСКИ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ, ИЛИ СНЕГ НА ЛОМТЕ ГОРЯЧЕГО ХЛЕБА"

Моя родина Австрия, мое отечество Европа, мое местожительство Мальмё, цвет моей кожи - белый, глаза голубые, мой дух изменчив, мои капризы капризны, мои упоения упоительны, моя выдержка изумительна, мои привязанности не связывают, мои печали как флюгер, мановением руки угрюмый, мановением руки радостен, друг надежды, свидетель свиданий, любитель девушек, посетитель кино, по сути меланхолик, ценитель твиста, ревнитель брасса, классный стрелок, карточный игрок, в шахматах - нуль, мастер кегельбана, в войну расстрелянный, разбитый в мирное время, бревно в глазу левых, бельмо на глазу правых, враг начальства, противник полиции, невыносимый зять, неопиcуемый отец, предатель-Иуда матерей, надежный, как Пилат, нежный, как Пуччини, непринужденный, как Доктор Уорд, робкий вначале, резвый ранним утром, трезвый по вечерам, изнемогающий в концерте, измененный у портного, крещенный в Санкт-Лоренце, разведенный в Клагенфурте, поэтический в Польше, в Париже пораженный, в Берлине бродяга, в Бремене переменивший ветер, в Венеции - прибытие письма, в Сарагосе - стран-

ник, в Вене - стакан с трещиной, рожденный в воздухе, волосы зачесаны вперед, бороду носил вместо галстука, женщину любил стоя, глазел на карусели в лесу, выдавливал буквы из дерева, с лиссабонками карабкался по лесенкам, с туринками дожидался утрени, с глазговитянками злился, обожаем в Женеве, с пражанками сдержан, часто здоровался, часто прощался, прыгал на берег из лодки, воровал яблоки, таскал груши, тосковал по револьверу, увлекался бумажным змеем, облакался одеждой, обретал крепость, терял квартиру, обитал в катакомбах, любил цветы, бил пластинки, был благодарен, сеял ветер, рассеивал мрак, испытывал ужас, приобретал позиции, терял позиции, держал язык за зубами, бежал как олень, дрался как лев, уподоблен луне, не умещался в границах, забрасывал удочки, забросил надежды, читал Мики Спиллейна, забросил Гёте, записывал стихи, разыгрывал роли, mi vida настаивал, строил гримасы, лепетал ciao, уходил, приходил, возвращался, превращался, А говорил, В совершил, С завершил, D задумал, E воплотил.

Все, что нами задумано, сбывается не так.

### ЛАНДШАФТ 13 ИЗ ЦИКЛА "ЛАНДШАФТЫ"

где я кто я кого чего кому я кто я где я в хороших  
руках я сирота я в кровати или я сиротка я на помойке я

не не не постоялец я или мусорщик вот в чем вопрос  
всех вопросов или как поставить вопрос как небо дырявое

и неосторожные ангелы валяются оттуда вот в чем  
вопрос несовершенно то небо и несовершенна любовь

что я для себя придумываю и переделываю как надо да  
именно это делаю я делал я буду делать но что бы что

бы я делать стал вот в чем вопрос вот игра вопрос - ответ  
вот ответ вот вопрос кто проиграл тот глупец тот платит

ах вы глупцы кто платит кто думает кто воображает жизнь  
скроена да скроена тебе по мерке и сшита тебе как фрак но

кто это сшил ее кто тот портной кто костюм тот для вас  
сооружает о вы болваны если поверили что тот костюм

элегантно так вашу фигуру облегает фигуру и будто бы  
швы на плече и рукав о болваны если вы воображаете будто

в хороших руках сирота я в хороших руках вот один из вас  
но на этом кончается фильм и кино опустело но прекрасная

сказка та сказка однако где я кто я кого я кому я  
в хороших руках или в дряни в помойке

## ВОСПОМИНАНИЕ О ФРАНЦИИ

Ты вспоминай со мной: Парижа небо, великое осеннее  
безвременье...  
Мы покупали у цветочниц синеву сердец:  
они цвели в стакане над водой.  
Дождь начался вдруг в нашей комнате,  
и наш сосед, месье Ле Сонж, невзрачный малый, в гости  
к нам пришел.  
Играли в карты мы. Я проиграл звезду моих очей,  
ты - блеск волос мне; я - соседу; он убил нас.  
Из комнаты он тихо вышел, по пятам дождь следовал за ним.  
Мы были мертвы и дышать могли.

## НА ВЫСОКОМ ОЗЕРЕ

Париж, кораблик, бросил якорь на стекле:  
так мой поднос в руках недвижим, - пью за тебя, пью,  
пью долго, пока сердце не померкнет,  
пока Париж вдоль снов своих не поплывет, качаясь,  
и курса не возьмет на лиру дальних звезд,  
что мир собой от нас укроет, мир, в котором Ты любое веткою  
любой ветвится,  
в котором я повис, как одинокий лист, что тает и над ветром  
улетает.

## СВЕЧА

Монах волосатыми пальцами книгу захлопнул: сентябрь!  
Язон забросал прошлогодний посев снегами.  
Шарф из рук омертвелых лес на шею твоей затянул,  
ты кричишь из могилы сквозь пашню.  
И черная синь твои волосы напрочь срубает, и я говорить  
от любви начинаю.  
Волны речь моя лепит, прибой, и ракушки, и ладья зацветает  
над ливнем,  
и над пальцами желтой листвы черный конь появился,  
и дверь в черноту соскочила, и голос поет мой:  
"Как жили мы здесь?"

## ПЕПЕЛ ИЗ УРН

Плесень вырастает на пороге забвения.  
У дверей сиротеющих обезглавленный лирик склонился.  
Он стучит в барабан твоей памяти ветвью горького хмеля;  
тяжелой стопой чертит в песке твоей брови рисунок.  
Удлинил твою бровь, губы красным раскрасил.  
Ты дышаешь тут пепел из урн, свое сердце тут гложешь.

※ ※ ※

Светящиеся  
осколки плывут над воздухом, над све-  
том, над сиянием све-  
та.  
Они вовеки  
не гибнут, не расстаются, не  
сближаются. Они восходят,  
как мельчайшие  
звезды  
созвездий шиповника, они  
восходят, они стоят над  
тобой, моя тихая,  
моя вечная:  
вижу тебя, ты собираешь их моими  
новыми, моими  
человеческими руками, ты держишь их  
в краю Отраженного Света, где не знают  
ни слез, ни слова.

Перевела с немецкого  
Е. Мнацаканова



А. ВОЛОХОНСКИЙ

# НАБОКОВ И МИФ ЛИЧНОСТИ

Того не принято в нашем братстве, чтобы прикасаться к инструментам в пустой мастерской, когда хозяин отсутствует. Поэтому я не намерен описывать его мастерские приемы и вообще разбираться в его блистательном мастерстве. Я не буду выставлять из рам зеркала в опустелом доме отца "Лолиты", не стану выметать из углов мелкий маргарит марфинькиных садов, звенеть инкрустированными ножами от фамилии Тальбот в знаменитой поэме:

"Список учеников ее класса".

Как можно чужими словами говорить, например, об отдувающимся откровении "уотерпруф" на берегу дна ланселотова озера - могилы и колыбели, где лежит, покачиваясь, та - бронзовая седая красотуля, которую задавил почтовый вертолет. И осталось от ее любовного отчаянья движенья одно лишь средство или механизм для полета любви на крылатых колесах по глянцево-карте преисподних штатов и по их примечательным местам.

Разве намекнуть, что бесформенный Лужин ушел в квадрат? - И не много и предезрко. Ведь квадратные окна - это всего лишь избитые клавиши клавиатура нынешней нашей серочувствительной лирики с ее обидой на жизнь и безвкусыными опасениями. И я боюсь обмануть зрителя аналогиями слишком очевидными, чтобы быть подлинными, - как иные говорят о сходстве стиля с Буниным или с Белым.

В самом деле - кто из них позволил бы веселенькой старой Гейз так прозрачно сыграть в ящик для писем?

Проще называть вещи, чем пытаться объяснить необъяснимое. Вот - нагоняющий сон, самое сонную болезнь, убийственную

нагану, брат прославленной мухи це-це ползущий по цветным стеклам на тонких ножках летучий живой изумруд Цинциннат Ц.Смертный сон под красным цилиндром. В нашей коллекции оружия все равно нет барабана, который мог бы его разбудить. Так не лучше ли и нам с тобою, читатель, тоже уснуть и общим храпом изобличить гносеологическую гнусность критической дозы право-левого литературного снотворного? Вряд ли ты серьезно надеешься найти здесь малый трактат "Химия яхонтов". Есть какая-то злорадная низость в подобных объяснительных записках.

Набоков потому так весело смеется над Фрейдом, что ему знакома истинная высокая тайна человеческого лица. Раз так - что ему ползучие грезы души или плоского извилистого тела.

...Пусть осторожный задумчивый мальчик, неэвоплощенный Зигфрид, победитель чудовищ и друг королей, валетов и дам, Сигизмунд девяток и пешек, в лучшем тесноватом квартале самой блестящей из всех балканских столиц действительно подвергал себя сонной мечте, наблюдая папашино самолюбование толстым Сфинксом на окраине стриженного Бельведера. Это - его собственность, это его частное дело. Набоков справедлив, когда говорит, что мы не обязаны грезить так уж совсем по-фивански. Беотия всегда была славна грубыми нравами, прочными стенами и простоватым бытом мысли. Мальчугану, ставшему профессионалом, нетрудно было заставить тамшнее развесившее уши население легко забыть конец эдиповой драмы - самоослепление отгадчика.

- Вон идет сновидец...

Что же нам шевелить пальцами в золоченом мозгу свободного человека? Зачем искать в сундуке с драгоценностями ответа на Панургово вопрошание? Ныне в мире стеклянных стен - кто способен еще принять полноватую мамочку за худенькую новобрачную?

- Тринк! - Это сказала Бутылка, а не холодный белый дядя.

Пусть, однако, привередливость не отвлекает нас от сновидений значительно более пышного невольничьего рынка. Если мы захотим найти тайное прибежище в нашем тонкостенном мире, построенном или сотворенном по образу раннегуманистической пифии Бакбук, нас могут позвать нырнуть туда, где - все помнят - гнуснейший Гумберт Гумберт вождедел осязать её виноград легких. Расположиться за решеткою собственных ребер. Пусть это легкое заключение неловко называется предварительным - предваряющим казнь. Здесь мы сразу же встретим все того же тонконового Ц.Ц., к которому входящая навеситить родня приносит заодно с собою и мебель. Попробуем поразвлечься - сплясать венский вальс с надзирающим рассудком, станем лобызаться с ведущим подкоп палачом - совестью. - Но мне сразу же становится неловко. Набоков угадал: мы пришли к нему с собственной мебелью...

Стало быть, наше мнимое, как философ на троне, уединение с самим собою может натурализоваться лишь, если водрузить на верх тела упомянутый головной убор - красный цилиндр. Только оттуда - с этой кафедры мы будем способны издавать голоса "похожих на нас людей" или хотя бы их различать. Так мы оказались в обществе частичного самоубийцы - анаграмматического Клэра Квинсли, долгонегумирающего от пуль борца Г.Г. за свободу личной жизни стихии Ку-Ку. Здесь стоит, право, предупредить созерцателя, что грязномыслие о Скорбящей Лолите помещает себя в раствор

черной жи. А кроме того - оно ничего не поймет в лучшем романе Набокова.

Сам Набоков упоминает в своей книге Лилит - первую любовь человека. Я отважусь напомнить древнюю легенду чуть подробнее.

Первой любовью Адама была будто бы не Ева, а сотканная из света Лилит. Ее золотые волосы обладали волшебной силой, кто касался их - не мог потом забыть. Собственно, это были лучи, облекавшие тело стихийного духа - олицетворения первой из стихий. Любовь к свету в человеческом детстве была древнее любви к человеку. После изгнания из Рая Адам еще помнил Лилит, но она стала демоном бесплотной страсти, злым духом, искушавшим любить не "ребро", не "жену", не "мать всех живущих", но - самую стихию любви. Это ночной демон, покушающийся на души детей. В Вавилоне ее называли соперницей Иштар - Астарты, богини плодородия и планеты Венеры.

Этот миф о происхождении любви и страстей лежит в основе удивительного романа о Скорбной Гейз, о Радостной Долорес, о Лолите - Лилит - о превращении испорченной девочки в беременное человеческое существо, просящее денег на переезд, о преображении осуществимых чувствований в невозможную любовь у последних границ, где еще можно различить собственное лицо и где самосжигается феникс - похоть. Подивимся же дикой теодицея, которая явилась нам в жанровом наряде многократно краденой виновницы испеления загородных вилл с их населением и замысловатыми нравами.

Вспомни, о зритель, еще раз-другой все три короба замечательных подарков, что сулил зеркальный К.К. своему двойному Г.Г. в обмен на отмену застрявшей в ковре его памяти очереди из пистолета с надеждами, где еще пуля еще вылетит из него назад - тебе прямо в руки. Есть прямой риск, что мы получим всю эту пугающую череду, когда не станем сами себе честным свинцовым зеркалом.

:: :: ::

Взор Набокова прям, и мир с ним прекрасен. Его книги возвращают достоинство слову. Они свидетельствуют о нашей внутренней свободе, о том, что личность - это ее слово.

Его люди не стремятся взлететь на мыльных шарах чеготобольшегочемонисами.

Не являются как прообразы автора на пробковых ходулях.

Не выпячивают вверх узкую грудь на фотографических автопортретах в профиль.

Не подносят нам слизней в героическом салате.

Не работают рупорами липких слоев и жидких сословий.

Не выражают идей, пресмыкаясь под разноцветными флагами.

Не изображают прописанных противными буквами лозунгов.

Не произносят ни квадратных слов, ни треугольных трюизмов.

В его книгах нет ничего, что превращает человеческую речь в трухлявое душевное месиво. Ибо Набоков один из немногих понимал, что пошлость укореняется прежде всего в испорченном слове. Цитирую из его книги "Дар" некоторые "перлы дельной мысли":

Белинский: "В природе все прекрасно, исключая только те

уродливые явления, которые сама природа оставила незаконченными и спрятала во мраке земли и воды<sup>11</sup>.

Михайловский о Достоевском: "...бился как рыба об лед, падая временами в унижайнейшие положения<sup>11</sup>.

Стеклов: "...разночинец, ютившийся в порах русской жизни, тараном своей мысли клеймил рутинные взгляды<sup>11</sup>.

Ленин: "...здесь нет фигового листочка, ...и идеалист прямо протягивает руку агностику<sup>11</sup>.

Эта протянутая рука - не менее выдающийся автограф эпохи, чем правдивейший отчет о любой баталии. Если взять в соображение теоретические взгляды сторон на природу ощущений и восприятий, эффект получается гомерический - как на олимпийском философском пиру, когда пара подсушенных ганимедов заиграется в жмурки.

Так чувствует историю Владимир Набоков. Он не пойдет засесть с Клио в Генштаб, но постарается услышать ее приватное перешептывание. Мне кажется, что это довольно надежно, ибо прошлое не замирает в переплете, как в жестком мундире, но вечно пляшет в живых словах, в звуках памяти.

В.МАРАМЗИН

# РУССКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА

«ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА»

## 1.

Два способа литературы

Деление литературы на реалистическую и нет - совершенно неинтересно. В этом делении отсутствует критерий. Самый реалистический роман вопиюще условен: условно все, что от первого лица, условно перенесение в третьи лица, условны выборки важных событий и пропуски "незначительных", условно само жизнеподобие, изображенное на плоском белом листе черными буквами. А то, что мы называем нереализмом, основано все равно на фактах, лицах и предметах мироздания, пусть самых фантастических, пусть соединенных самым алогичным способом. "Чего Бог не дал, того негде взять", - как умели в полной простоте писать русские писатели (Аксаков). Разобравшись, видишь, что претензия на исключительный реализм есть обида неталанта на талант и игру ума.

Но пытаюсь совершать деление, мы не просто уступаем несовершенству нашего мозга, не умеющего работать без сравнительной степени. Литература - странное и разноликое занятие, лишь по виду сводящееся к одинаковым продуктам, к книгам, к заполненным листам бумаги<sup>22</sup>. И лучшие дела человечества, и самые от-

---

<sup>22</sup> Единообразие вида особенно чувствуется здесь, за границей, где магазины полны книг, для нас, русскоязычных, совершенно одинаковых, как незнакомые консервы в красивых жестянках. Но как же различна должна быть начинка, если рядом на витрине мы видим "ГУЛаг" и книгу, славящую Великого Кормчего - обе на одном и том же изящном французском языке.

вратительные тоже могут принимать форму книг и стоять на одной полке академической библиотеки (и это правильно, заметим в скобках, - то есть стоять всегда на полках: если им где-то соседствовать, то именно здесь). Поэтому стремление делить литературу по каким-либо признакам не так уж обосновательно. Оставим другим подразделять ее на серьезную и экспериментальную, на прогрессивную и реакционную, на правую и левую, верхнюю и нижнюю. Но одно из делений последнее время занимает меня и кажется имеющим отношение к романам Владимира Максимова, об одном из которых здесь пойдет речь.

Это деление касается цели самого процесса составления книг из слов и предложений. Большую часть жизни я думал, что лучшие книги пишутся как исследование, когда переполненный жизнью и болью человек не может ни в чем разобраться, пока не возьмет перо и не попытается нечто записать. Это, казалось мне, особый род несчастья, когда писатель умеет что-то понять о связи событий, лишь написав их. Конечно, плоды такого несчастья могут быть прекрасны для других людей (высокая болезнь - Пастернак о стихах), но не предпочтительнее ли прямая возможность осмысления и частей, и целого, какая бывает у философов, у ясновидцев и просто у старых русских мещанок? Как бы то ни было, мне долго казалось, что лучшие книги - скажем для честности, лучшие русские книги, о других судить мне труднее - писались именно так. Школьный курс литературы никогда ничего похожего не говорил, что еще больше укрепляло это суждение. Официальные советские теории тоже всегда настаивали на процессе, скажем, сознательного отражения. Писатель (особенно советский) представлялся безгрешным всеведом, мудрецом изначального знания, который снисходительно излагает ему известное. Зачем он это делает? Стыдливо умалчивается (подразумеваясь) стремление к сталинской премии, настойчиво выдвигается бескорыстное желание поделиться с читателем чем сам богат. По методу прямого отрицания официоза наши суждения снова делаются наоборотными - и тут, как всегда при поверхностных операциях, тaitся ловушка.

С годами я стал понимать (с годами всё только и понимает-ся), что возможна настоящая литература как первого, так и второго рода. Первая, написанная человеком, заранее не знаящим, что он получит: иди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. Вторая, написанная прожившим жизнь и пришедшим к достаточной мудрости человеком, чувствующим нравственный зов отдать вовне накопленное понимание, испытывающим настоящую боль, пока не отдаст.

Именно так написан роман Максимова "Прощание из ниоткуда". И может быть, именно потому этот роман научивает жить. Во всяком случае, он может научить любви и прощению, что уже немало.

## 2.

### Роман среди других романов

Признанной вершиной Максимова является роман "Семь дней творения". Это, несомненно, одна из самых значительных русских

книг нашего времени. Она принадлежит к тем книгам, которые как бы уже не являются литературой, но явлением природы. Нельзя представить себе, что еще совсем недавно этой книги не существовало. Простота и отприродность ее заставляют нас удивиться - будь мы чище и непосредственней в суждениях, - как это кому-то другому не пришла мысль написать ее много раньше.

"Прощание из ниоткуда" строится в главной своей части на том же материале, что и "Семь дней". Тот же "двор посреди неба", московская окраина - настоящая столица книги (по выражению Набокова), как одной, так и другой. Но удивительно, сколь разнятся обе по тону. Я не могу сказать, какая из двух книг лучше. Могут быть моменты в жизни, когда одна нужней, потом нужнее оказывается другая. Но мне кажется сейчас, что "Семь дней" писались способом исследования, когда ценностный результат получился в конце работы. "Прощание" же написано человеком, который уже знает. И знает он, что всё это бедное, ветхое, по видимости жестокое, что составляет русскую жизнь сегодня, содержит в себе в то же время всё прекрасное, доброе, возвышенное; и другого не будет дано. Оттого и понадобилось еще раз обойти тот же материал. Оттого и мягкий, что называется, лирический (и в самом деле такой, если не бояться испорченного слова) тон более поздней книги. И уж потому-то принято считать ее автобиографической, что кажется мне неправильным. Любая книга настоящего писателя в достаточной мере автобиографична, и эта не в большей.

### 3.

#### Прощание

Начало романа я читал еще в России, напечатанным в "Гранях", и помнится, номер вышел, когда Максимов еще не уехал на Запад. Вероятно, он писался в том промежутке, когда изгнание уже виделось неизбежным, но физический отъезд еще не совершился. Боль решения, боль отрывания себя от всего самого дорогого прочитывается в этой книге как нигде. Можно много сочинить теорий о том, надо или нет уезжать и почему. Чем мельче человек, тем мельче, хлебнее или, напротив, выпренней его "за" и "против", но в каждом случае очевидно нечто невысказанное, чего и не может сформулировать сам автор своей жизни, что выше его, как бы ни был он умен и значителен.

Прощание Максимова, хотя и совершаемое с такой болью, убеждает нас куда сильней любых теоретических статей, что герой этой истории будет вынужден уехать. Мы знаем, что Владимир Максимов уехал тоже. Были годы, когда ему, как и его герою, жилось гораздо хуже, преследования были серьезней, но именно сейчас нечто вытолкнуло его бесповоротно. Это "нечто" одной природы у автора и у героя. Не только мечта о более сносной жизни, не только профессиональные надежды, не только стремление к деятельности. Здесь более серьезный процесс.

Пока личность (будем всё же говорить о герое) находилась в

росте, была в процессе, пока в ней там и там еще зеленели милые младенческие мягкие черты, пока она научивалась различать, что есть добро и что зло, на разных уровнях, - она умела жить внутри этого режима и даже находила радость, счастье в самых страшных обстоятельствах. Но едва этот рост перешел некий порог значительности, когда духовный заряд личности стал существенным, - и взаимодействие зарядов мгновенно проявилось. Взаимодействие это оказалось отталкиванием.

Даже не касаясь политических вопросов, мы можем лишь пожалеть то сообщество людей, которое стремится вытолкнуть из себя всё наиболее выдающееся. Но если брать еще серьезнее, приходится задуматься вообще о двойственности, о трагичности гипертрофированной человеческой личности, как бы прекрасна она ни была, - если, конечно, это не личность святого.

#### 4. Прощение

Я еще помню первую книгу Владимира Максимова, сильную своей ненавистью ко всем, кто поставлен, чтобы учить, заставлять, не допускать, пресекать и регулировать. Мне это запомнилось тогда как жизненное правило: если даже кто-то будет тебя убивать, никогда не обращай за помощью к властям.

"Прощание из ниоткуда" учит прощению, как не учит, наверно, ни одна другая книга. В общем виде мы давно это знаем, да и для русской литературы это не новость. Но вот потому и должна литература непрерывно возобновляться на материале близкой нам жизни, ибо так легко мы отвергаем внутренне все случаи, не совпадающие во времени или в обстоятельствах с нашим собственным опытом. Вряд ли можно представить себе жизнь, более склонную к ненависти, а не к прощению, нежели жизнь героя. Даже мать пожелала ему смерти, а в детстве это западает навсегда. Те же, кто тащит и не пукает, вдоволь похозяйничали в его судьбе. Другому бы десятую часть всех этих скитаний, приводов в милицию, детколоний, пропускников и психушек - станешь просто сосудом ненависти и злобы. Но он не ожесточился, ибо умел видеть в каждом встреченном человека. И в самых страшных обстоятельствах всегда находил кто-то, кто ему помогал, и среди них даже вор в законе, даже злой малолетка, надзиратель, даже советский психиатр. Столько зла совершено в этой книге, но каким количеством добра оно перекрыто. Ты видишь, что в твоей жизни было меньше злого, страшного, и уж тебе тем более положено прощать. А если меньше было к тебе доброты, то в этом - твоя вина.

Но как же быть с теми, кто учит, принуждает и пресекает? Прощать или ненавидеть? Я думаю, что ненависть - это тоже живое чувство. Читая прозу, невольно обращаешь всё на себя, примеряешь к своему опыту. Помню, что готовясь к аресту, я приучал себя относиться к кагебистам как к нелюдям, а нелюдей ведь нельзя даже ненавидеть. Но я сразу понял, что не могу считать их простой нечистью - это было бы слишком легко. А как люди они, разумеется,



заслуживают ненависти, - в той степени, какая зависит от их личных качеств. Поэтому моя ненависть к ним вполне неизменна. Что же до прощения, то здесь роман Максимова отвечает нам очень точно: прощай их тоже, но только тогда, когда раскаялись. Достаточно ли это по-христиански? Не знаю, все мы не очень хорошие христиане.

## 5. Жизнь как урок

Замечательно, что это очень свободная, не тенденционная книга.

Может быть, наше недоверие ко второму рода литературе, к учительной, связано с нашим читательским опытом. Не раз видели мы даже у очень больших мастеров, как писатель уминает жизнь в чемодан предварительной концепции, а если углы торчат и факты не умещаются, тем хуже для фактов (например, Толстой в рассказе "Дьявол", и не только там). На этом основании выросли даже весьма интеллигентные теории, отрицающие возможность учительного значения литературы. Кажется, в журнале "Наука и религия" я читал лет десять назад статью видного советского историка о роли христианства в культуре. Очень многое за христианством признавая (что было необычно в советском журнале), он в то же время отрицал значение христианства для развития литературы. На много веков, считал он, воцарились в мире книги, авторы которых лишь излагали заранее известные им истины. И это звучало - при репутации этого ученого и при широте всех прочих посылок - достаточно убедительно! Правда, умеющие читать между строк разъяснили мне, что это надо понимать как укоризненный намек на литературу советскую. Но я недостаточно разбираюсь в таких разрешенных инсказаньях, поэтому я все равно задумался.

А если ты не вынимаешь себя из объекта нравоучения? Если оно, собственно, прежде всего на себя и направлено? Если по этой, в какой-то момент открывшейся тебе истине ты судишь себя самого и свой путь? Разве это тоже нельзя?

"Прощание из ниоткуда" показывает нам, как это может быть. Вы не упрекнете автора в тенденциозности, но приступая к книге, он несомненно уже знал нравственный ее итог. Жизнь героя была очень всякой, и порознь многие ее куски не вызовут восторга. Но постепенно эта жизнь шла к очищению через страдание и осознание урока этого страдания, через опыт доброты, пришедшей оттуда, где ее быть не должно. Когда родные оказываются равнодушными или несправедливыми, а чужой, ничем не обязанный тебе пацан выхаживает тебя, умирающего на крыше общественной уборной, среди нечистот, тогда-то начинаешь понимать, что нравственность - это нечто большее, чем "ты мне - я тебе", что она не отвечает на вопросы "почему" или "зачем" и не регулируется точными догматическими установками, ежеминутно выполняя которые, ты получишь блаженство. Удивительная связанность всего со всем есть первый урок этой жизни, этой книги.

Еще одно было для меня в ней предметом размышления. Несмотря на неприятную советскую школу с приманкой аттестата зрелости в конце (от которой не отскрестись потом целую жизнь), всё же я считаю, что был в детстве лучше, что со временем во мне откладывалось что-то тяжкое, связанное с внешними бедами и внутренними винами, и я не становился от этого краше. У Максимова я увидел человека, жизнь которого была несравнимо тяжелее моей, но он по ней подымался, а не спускался. С годами он становился и сознательно, и неосознанно лучше - а второе, может, даже важнее. Вспомним, что западный роман часто строился на подобном восхождении (какой-нибудь "Путь в высшее общество"). Но это восхождение социальное, от грязной жизни внизу до чистой, безбедной - наверху, когда больше нет необходимости совершать те мелкие пакости, на которые толкает нужда. Социальное восхождение не сопровождается нравственным, и более талантливые писатели мимо этого не проходили (Бальзак, Мопассан). Влад Самсонов в "Прощании из ниоткуда" не восходит к более организованной жизни. Наоборот, литературная и газетная советская среда во всех отношениях не лучше воровской и лагерной. Но внутренне Самсонов несомненно поднимается - отсюда и его выталкивание. Вот это, я думаю, и есть настоящее, не декларативное христианство. Такое его ощущение всегда было свойственно лучшей русской литературе: "Со смертью кончается путь к исправлению. Всякий же здесь себя обязан исправить." (Лесков. Легендарные характеры). Действительно, если не здесь, то где ж еще? Мало ли что жизнь трудная. А у кого легкая?

## 6.

### Любовь

Но если б надо было одним словом определить, чего же больше всего в этой книге, можно не задумываясь сказать: любви. Я никогда не встречал такой укорененности, такого острого чувства непрерывного присутствия рядом, в течение всей жизни, тех мест, из которых человек пришел в мир, всех родных, как бы они к нему ни относились, всех людей, когда-либо вошедших с ним в долгую или краткую дружбу. Герой романа не выбирает себе родителей и родственников по признакам духовного сходства, по признакам приятности для себя. Напротив, среди них даже и такие, что глубоко чужды ему по духу, те, что "поползли по земле в качестве лагерных надзирателей и барыг, штатных болтунов и сутяжников, номенклатурных придурков и профессиональных стукачей; все эти дежурные по станции, весовщики, толкачи, подгонялы, банщики, билетеры, постовые и филера. Были среди них и редкие выродки с человеческими признаками, но они неизменно кончали тюрьмой или белой горячкой." (стр.60). Чего уж горше можно написать?

Но родных человек не выбирает, он от них рождается и несет любовь к ним через всю жизнь. Любовь - это еще не прощение. Но уж во всяком случае она напрочь отрицает кошмар Павликов Мороз-

зовых. Боюсь, что на Западе мало кто знает эту излюбленную советскую легенду о мальчишке, предавшем (идейно) своего отца, которая еще в детстве ужаснула меня, долго возвращалась безвыходностью своей дилеммы: как примирить любовь с одухотворенностью внешней задачей (не сразу поймешь, что дилемма ложная). Но уж тот, кто знает, по ней одной может понять, что несет с собой коммунизм. Как бы горько ни размышлял Влад Самсонов о своих родных, любовь, жалость к ним наполняют его всегда.

Любовь настолько естественна в этой книге, что позволяет себе многократно изъясняться в самых прямых словах и нисколько не коробит наш слух, привыкший стесняться сентиментальности и проявлений. И это прямое доказательство истинности этой любви.

Я уж не говорю про любовь к России, главную тему Максимова - о ней много писалось в связи с его прозой. Мне лишь хотелось бы добавить, что и это чувство так естественно в нем, что не может ни заслонить трезвого размышления, ни превратиться в подобие новой религии, как это бывает у людей недостаточно укорененных, которые желают эту неукорененность преодолеть или скрыть. В этой книге, где всё очень просто и которая состоит как бы из той же ткани, что сама жизнь, всё тем не менее всегда не случайно. Сестра героя уехала с мужем в Израиль - событие вполне житейское в наши дни. Но не затем ли по обочинам романа оказались расставлены виды Святой земли (по которой ходил Спаситель), чтоб напомнить нам еще одни наши корни, и самые важные? После этого еще сильней прозвучит любовь к родной русской земле, боль за нее: "пьяная и святая, кроткая и оголтелая, падшая и воскресающая вновь... Она отторгла нас, упрямых своих пасынков, и без сожаления поглядела нам вслед. Ей, в ее временной глухоте, еще не под силу услышать, чего же мы жаждем в нашей горькой любви к ней. Но в этом надменном ее непонимании уже чувствуется взysкующе мучительный вопрос: куда вы? ...До свидания, мати!" (стр.428).

Это - завершение книги, и я не знаю, кто в последние годы умел сказать это с такой остротой, с такой болью и так точно.

Даже и прочесть этого многие не сумели.

## 7.

### Простые вещи

Иностранцев должно удивлять, как это случилось, что после сложного пути от Пушкина к Достоевскому, после идеологически парадоксальной подсоветской прозы Олеши, Бабеля и Платонова русская литература возвращается к тому, что можно назвать простыми ценностями. Можно это назвать как угодно по-иному, моя терминология вполне кустарна. Сейчас я объясню, что имею в виду.

Многие тысячи томов написаны, чтоб исследовать то новое, что принесла с собой русская литература. Тут и открытие подпольного человека, восставшего против добра и красоты (которые изолгались), тут и предвидение безбожной любви, которая окажется горячей христианской; тут и предсказание неизбежности преступления (в том числе коллективного) на пути к свободе. И луч-

шая проза, пробившаяся в первой половине столетия из-под гнета режима, как бы реализовывала все эти предсказания, как бы рисовала - и блестяще - овеществленный мир этих утопий. Рациональное западное сознание, под сильным впечатлением от русской литературы, тоже немало сделало на этом пути (насколько оно его понимало) - и вот по западной прозе пошли гулять различные имморалисты. Представляю, насколько же пресной кажется западной интеллигенции проза, подобная романам Солженицына и Максимова. И дело тут не в простоте формы, о которой часто говорят: и у того и у другого она достаточно сложна. Но что же это происходит: мы читаем книги, где зло есть зло и добро есть добро, и ничто не рядится парадоксально друг в друга, а если рядится, то не для авторского сознания. Это можно было бы показать и на примере более туманных формально книг (ну, скажем, "Москва - Петушки" В.Дорофеева). Иностранец морщится, для него старомодно, но русский читатель самого разного уровня воспринимает эти книги как нужнейшие и современнейшие.\*

Я не знаю, как это объяснить. Может быть, Россия и русские, первыми определив болезнь, надвигающуюся на человечество, первыми же почувствовали и возможность выздоровления? Во всяком случае, тут есть определенная закономерность, над которой стоит подумать.

## 8.

### Что есть культура

В связи с романами Владимира Максимова встаёт обязательно и этот вопрос.

И "Семь дней", и "Прощание" сделаны из материала, который, казалось бы, не принадлежит культуре. Правда, было немало примеров, когда простонародная жизнь вводилась в культурный обиход - либо как иллюстрация господствовавших общественных идей, либо как нечто эстетически новое, свежее, доступное игре наблюдательности и щегольству точным слухом. Я не хочу сказать, что лишь Максимов подошел к этому материалу по-иному. Для русской литературы, от Григоровича до Лескова, такое отношение было свойственно. Но есть и разница. Прежде всего, никогда простая русская жизнь не была такой бедной, такой затравленной, сброшенной поистине на самое духовное дно. И кроме того, Максимов совершенно минует - как бы даже с досадой - разные эстетические возможности, которые и этот материал дает писателю. Мне поначалу даже было жаль, что он не использует хотя бы некоторые из этих возможностей: картинно построенный народный диалог, подчеркнута странные характеры, парадоксальные ситуации - всё это

---

\* Я считаю, что и "Лолита" Набокова (которую всячески люблю) в этом отношении тоже очень русская книга, с очень прямой и нормальной нравственностью, хотя и изложенной от обратного, - что бы о ней ни говорили здесь и там, простые читатели и самые непростые.

в избытке дает современная русская жизнь, чем и пользовались многие хорошие авторы, взять хотя бы Шукшина. Но Максимов нетерпеливо все это минует, спеша к главному, к тому высокому человеческому пониманию, которым именно он и силен. То есть Максимов непосредственно вводит этот страшный, этот бедный материал в культуру, даже не пользуясь каким-либо пестро раскрашенным недоуздком. Андрей Платонов (совершенно не схожий с Максимовым) был бы доволен: он не раз упрекал в своих статьях писателей за то, что слишком много сил тратят на эстетическое, вместо того, чтобы прямо идти к этическому.

Нужно сказать при этом, что такой прямой путь требует куда большего писательского умения, чем это покажется. Не раз подобные попытки перескочить эстетическое на пути к этическому делались разными людьми - взять хотя бы известные "физиологические очерки" прошлого века. Не удалось! В таких делах как литература судят по результату. Видимо, для прямого пути нужна особая сила, которая у Максимова есть. И сила эта несомненно принадлежит культуре, а вернее - она-то и есть культура.

Простонародный материал и сходство некоторых подробностей биографии заставляют предположить возможность аналогии с Горьким (впрочем, кажется, биографию себе Горький выдумал). Не берясь - по разным причинам - сравнивать, посмотрим лишь на одну черту: соотносимость с культурой. Известно, что Горький был культуруфил. Всем хорошим в себе он был обязан книге и больше всего на свете хотел изготавливать книги из своей обширной личности. По многим свидетельствам, в том числе эмигрантским (Вл. Ходасевич), он был и в самом деле неутомимый работник культуры. Но, странное дело: всё написанное им год от года скукоживается и, похоже, скоро из культуры исчезнет напрочь (хотя сам Горький как легенда, выполняя предсказание Чехова, будет присутствовать в человечестве еще долго - правда, легенда эта уже сейчас имеет жутковатый оттенок). Почему происходит такое постепенное испарение? Приходится предположить, что его проза и не сумела по-настоящему войти в культуру, как бы того ни хотелось многим его современникам, даже честным. Материал простой жизни казался Горькому антикультурным, он был интересен ему лишь сквозь призму культуры. Само по себе существование отдельных незначительных людей казалось ему малоинтересным. Горький по нескольку раз на странице вынимает себя из этого существования, напоминает и себе, и нам, что он принадлежит высокой литературе, что его пребывание среди людей его народа случайно, что к нему нельзя отнести все то бессмысленное, что совершают эти люди, пьянствуя, насилуя, убивая, некрасиво влюбляясь в некрасивых женщин. Мне не хочется сейчас приводить примеры, но предлагаю читателю прочесть с этой точки зрения хотя бы повесть "В людях". Культура за это мстит, ибо она не всегда есть то, чем ее хотят считать ее работники, а чаще всего даже нечто обратное. Страстно, физически страдавшего по ней Горького она в себя не приняла.

Романы Максимова, при внешнем отсутствии специальной культурной озабоченности - принадлежат ей целиком, и куда более, нежели многие вторичные книги, щегольски оснащенные культурным

аппаратом разного рода. Мне кажется, здесь можно заметить еще одну черту. Карамзин в своей "Истории Государства Российского" писал о Евдокии, вдове Дмитрия Донского: "Сия Княгиня набожная сколь любила добродетель, столь ненавидела ее личину" - и личины этой никогда не носила, хотя была глубоко добродетельна. Перефразируя, можно сказать о романах Максимова, что в них чувствуется нелюбовь к личине культурной. Они в ней и не нуждаются, как всё первичное, обладающее витальной силой, составляющее само тело культуры.

## 9.

### Стихи и проза

В романе "Прощание из ниоткуда" есть одна особенность, о которой нельзя не сказать.

Его герой пропитан расхожими стихотворными строчками, они выскакивают у него по делу и без. Это характерно для русского сознания, даже самого простого. Никто на Западе ничего подобного не знает. Французы удивляются: как много стихов заучивают русские. Нет, мы их, кроме как в детстве, и не заучиваем. Наши русские стихи растворены в нашей жизни, в нашем языке, они всегда живы, они из этого воздуха и взялись, а не написаны умелым пером по хорошей бумаге. Конечно, простые люди не цитируют Пушкина или Тютчева (иногда и их, хотя не знают, кого), но строки, словосочетания из песен, романсов, скрытые цитаты всегда сидят в любой голове. К среде прилблатненной это относится тоже, даже в большей степени. Происходит возвращение культуры в общую жизнь, из которой она первоначально и выросла. Народ, возможно, не питается Пушкиным, но и расхожие поэты, и популярные шлягеристы Пушкина впитали, он уже растворен в языке - именно потому говорим мы о том, что соккрытие от современников большого поэта есть порча языка (как это произошло с Бродским).

Интересно, что русская проза всегда вырастала из стихов. Достоевский признается, что пушкинские строки были завязью нескольких его романов. Гоголь вообще называет "Мертвые души" поэмой - и не кокетничает. Вообще в России как бы не существовало деления на стихи и прозу. Многие писали и то и другое (Пушкин, Лермонтов, А.К.Толстой, Мандельштам, Пастернак). Но дело даже не в этом. Кем быть, поэтом или прозаиком, определяла потребность времени. Интересно, что поколение Максимова (как и поколение Солженицына) не дало великого поэта (который появился лишь позже). Зато это поколение с новой силой возродило русский роман. Наверно, это не случайно.

Все это вспомнилось мне не только в связи со стихотворными цитатами в тексте "Прощания". Мне даже кажется, что не везде это цитирование удачно сочленено, не везде естественно всплывает из текста романа или обратно в него погружается. Но и сам роман построен как стихотворение, с его внешней и внутренней замкнутостью, с предъявлением сразу всех основных тем, с их сплетением и расплетением по ходу рассказа. Большинство русских романов не имеет настоящего сюжетного конца, русскому ав-

тору обычно лень его изобразить, но они имеют смысловую, эмоциональную точку. Последние страницы "Прощания из ниоткуда" есть настоящая и очень мощная кода, как бывает в конце большого стихотворения. По этому признаку мы тоже сразу поставим "Прощание из ниоткуда" в ряд подлинно русских романов.

Роман - русский роман, об остальных судить не будем - никак не изжил себя. Кто это произнес? Он жив как никогда.

## 10.

### Изгнание

Изгнание - в числе главных тем романа. Он весь происходит в предвкушении изгнания. Изгнание, наконец, совершилось, и совершилось с обоюдного согласия, роман тому свидетельство. Но разве к обоюдному удовольствию, к обоюдной пользе?

Писатель все равно изгнанник, где бы ни находилось его физическое тело. А при наших грустных порядках в дому - и тем паче. Но ведь писатель еще и просто человек, с простой вытекающей отсюда слезой. Прав ли он? Виновен ли он, уходя в свое изгнание? Нет другой формулы, только одна: "Если я виновен, горе мне! если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей." (Иов; 10, 15).

А как там без нас ты, родная? Оглянись, ты тоже теряешь сына, и не худшего. До свидания, мати!

Дай ответ - не даёт ответа.

Гимн часов кремлевской башни.

Ко всем в СССР,  
кто по работе или случайно соприкасается с рукописями

В издательства, в редакции, киностудии и газеты непрерывно попадают различные рукописи. Тут проза и стихи, публицистика, очерки, философия, богословие, пьесы, сценарии, научные статьи и книги. Лучшие из них не могут пробиться в печать даже ценой авторских уступок. Какая-то часть попадает в самиздат.

Пора нам перестать лелеять надежды на перемены сверху. Мы много сделали шагов навстречу властям, давая им возможность проявить разумность. Письменность в наше время составляет главную часть культуры. Непечатание крупного поэта обедняет целые поколения. Но не менее важна и вся срединная волна литературы и мысли. Именно на ней восходят великие писатели. Она рассказывает о многом, что не попадает в поле зрения литературы вершинной.

Поэтому мы призываем всех, кому в руки попадет интересная рукопись, которая не может быть напечатана, снимать с нее копию без всякого уведомления автора (для его же безопасности) и переправлять на Запад, в любую русскую редакцию или издательство - "Континент", "Вестник РХД", "Грани", "Время и мы", "Посев", "ИМКА-пресс", "Ардис", "Ритм" и другие.

Помните, что:

- все русские издатели за рубежом тесно связаны друг с другом;

- тайна автора и пересылателя строго сохранится (если не будет другого распоряжения от них);

- рукописи можно посылать не только для печати, но и просто для сохранения - тогда помечайте их словом "Сейф";

- не нужно заботиться о новых инструкциях по авторскому праву, которые выдумывают власти в борьбе с культурой. Еще Карамзин писал: "Гражданские законы не могут быть сильнее естественного: спасаться от мучителя". К рукописям это относится тоже;

- посылайте не только целые рукописи, но если интересны отрывки, главы, отсекаемые при печати, - шлите их тоже.

Почти вся лучшая русская литература и мысль идут сейчас в редакционные отходы. Не позволим им пропасть, как не позволяет пропасть русскому изобразительному искусству открытый под Парижем "Русский музей в изгнании".

Снимайте на пленку, перепечатавайте, списывайте и шлите всеми доступными вам способами за границу!

Группа писателей

Мы перепечатаваем это обращение, которое пришло из России от писателей младшего поколения, из журнала "Континент", № 10 и полностью его поддерживаем. Зачастую многим порядочным людям, работающим в советских редакциях (такие есть), попросту не приходит в голову, что они могли бы, не спрашиваясь у автора, пустить интересную рукопись в самиздат. Пусть знают, что автор в конечном счете всегда в этом заинтересован.





**ЭХО · ЕСНО**

**ПАРИЖ · PARIS**